



Шота Руставели
Витязь в барсовой шкуре
(перевод Константина Бальмонта)

Узнать несколько стихов Руставели,
значит полюбить его.

Кто полюбит, тот захочет достичь
или хотя бы приблизиться.

Так было и со мной.

К. Бальмонт

Витязь в барсовой шкуре

Четырестрочия вступительные

Он, что создал свод небесный, он, что властью чудесной
Людам дух дал бестелесный, — этот мир нам дал в удел.
Мы владеем беспредельным, многоразным, в разном цельным.
Каждый царь наш, в лике дельном, лик его средь царских дел.

Бог, создавший мир однажды. От тебя здесь облик каждый.
Дай мне жить любовной жаждой, ей упиться глубоко.
Дай мне, страстным устремленьем, вплоть до смерти жить томленьем,
Бремя сердца, с светлым пеньем, в мир иной снести легко.

Льва, что знает меч блестящий, щит и копий свист летящий,
Ту, чьи волосы — как чащи, чьи уста — рубин, Тамар, —
Этот лес кудрей агатный, и рубин тот ароматный,
Я хвалюю многократной вознесу в сияньи чар.

Не вседневными хвалами, я кровавыми слезами,
Как молитвой в светлом храме, восхваляю в стихах ее.
Янтарем пишу я черным, тростником черчу узорным.
Кто к хвалам прильнет повторным, в сердце примет он копьё.

В том веление царицы, чтоб воспеть ее ресницы,
Нежность губ, очей зарницы и зубов жемчужный ряд.
Милый облик чернобровой. Наковальнею свинцовой
Камень твердый и суровый руки меткие дробят.

О, теперь слова мне нужны. Да пребудут в связи дружной.
Да звенит напев жемчужный. Встретит помощь Тариэль.
Мысль о нем — в словах заветных, вспоминательно-приветных.
Трех героев звездосветных воспоем моя свирель.

Сядьте вы, что с колыбели тех же судеб волю зрели.
Вот запел я, Руставели, в сердце мне вошло копьё.
До сих пор был сказки связной тихий звук однообразный,
А теперь — размер алмазный, песня, слушайте ее.

Тот, кто любит, кто влюбленный, должен быть весь озаренный,
Юный, быстрый, умудренный, должен зорко видеть сон,
Быть победным над врагами, знать, что выразить словами,
Тешить мысль как мотыльками, — если ж нет, не любит он.
О, любить! Любовь есть тайна, свет, что льнет необычайно.
Неразгаданно, бескрайно светит свет того огня.
Не простое лишь хотенье, это — дымно, это — тленье.
Здесь есть тонкость различенья, — услышав, пойми Меня.
Кто упорен в чувстве жданном, он пребудет постоянным,
Неизменным, необманным, гнет разлуки примет он.
Примет гнев он, если надо, будет грусть ему отрада.
Тот, кто знал лишь сладость взгляда, ласки лишь, — не любит он.
Кто, горя сердечной кровью, льнул с тоскою к изголовью,
Назовет ли он любовью эту легкую игру.
Лгнуть к одной, сменять другою, это я зову игрою.
Если ж я люблю душою, — целый мир скорбей беру.
Только в том любовь достойна, что, любя, тревожно, знойно,
Пряча боль, проходит стройно, уходя в безлюдье, в сон,
Лишь с собой забыться смеет, бьется, плачет, пламенеет,
И царей он не робеет, но любви — робеет он.
Связан пламенным законом, как в лесу идя зеленом,
Не предаст нескромным стоном имя милой для стыда.
И, бежа разоблаченья, примет с радостью мученья,
Все для милой, хоть сожженье, в том восторг, а не беда.
Кто тому поверить может, что любимой имя вложит
В пересуды? Он тревожит — и ее, и с ней себя.
Раз ославишь, нет в том славы, лишь дыхание отравы.
Тот, кто сердцем нелукавый, бережет любовь, любя.
Той, чей голос — звон свирели, нить свивая из кудели,
Песнь сложил я, Руставели, умирая от любви.
Мой недуг — неизлечимый. Разве только от любимой
Свет придет неугасимый, — или, Смерть, к себе зови.
Сказку персов, их намеки, влил в грузинские я строки.
Ценный жемчуг был в потоке. Красота глубин тиха.
Но во имя той прекрасной, перед кем я в пытке страстной,
Я жемчужин отсвет ясный сжал оправою стиха.
Взор, увидев свет однажды, преисполнен вечной жажды
С милой быть в минуте каждой. Я безумен. Я погас.

Тело все опять — горенье. Кто поможет? Только пенье.
Троекратное хваленье — той, в которой все — алмаз.
Что судьба нам присудила, нам должно быть это мило.
Неизменно, чтоб ни было, любим мы родимый край.
У работника — работа, у бойца — война забота.
Если ж любишь, так без счета верь любви, и в ней сгорай.
Петь напев четырёхстрочно, это — мудрость. Знание — точно.
Кто от бога, — полномочно он поет, перегорев.
В малословьи много скажет. Дух свой с слушателем свяжет.
Мысль всегда певца уважит. В мире властвует напев.
Как легко бежит свободный конь породы благородной,
Как мячом игрок природный попадает метко в цель,
Так поэт в поэме сложной ход направит бестревожный,
Ткани будто невозможной четко выпрядет кудель.
Вдохновенный — в самом трудном светит светом изумрудным,
Грянув словом многогудным, оправдает крепкий стих.
Слово Грузии могуче. Если сердце в ком певуче,
Блеск рождается в темной туче, в лете молний вырезных.
Кто когда-то сложит где-то две-три строчки, песня спета,
Все же — пламенем поэта он еще не проблеснул.
Две-три песни, он слагатель, но, когда такой даятель
Мнит, что вправду он создатель, он упрямый только мул.
И потом, кто знает пенье, кто поймет стихотворенье,
Но не ведает пронзенья, сердце жгущих, острых слов,
Тот еще охотник малый, и в ловитвах небывалый,
Он с стрелою запоздалой к крупной дичи не готов.
И еще. Забавных песен в пирный час напев чудесен.
Круг сомкнётся, весел, тесен. Эти песни тешат нас.
Верно спетые при этом. Но лишь тот отмечен светом,
Назовется тот поэтом, долгий кто пропел рассказ.
Знает счет поэт усилью. Песен дар не бросит пылью.
И всему он изобилью быть велит усладой — ей,
Той, кого зовет любовью, перед кем блеснет он новью,
Кто, его владея кровью, петь ему велит звучней.
Только ей — его горенья. Пусть же слышит той хваленья,
В ком нашел я прославление, в ком удел блестящий мой.
Хоть жестока, как пантера, в ней вся жизнь моя и вера,
Это имя в ток размера я позднее внесу с хвалой.
О любви пою верховной — неземной и безгреховной.

Стих об этом полнословный трудно спеть, бегут слова.
Та Любовь от доли тесной душу мчит в простор небесный.
Свет сверкает в ней безвестный, здесь лишь видимый едва.
Говорить об этом трудно. Даже мудрым многочудна
Та Любовь. И здесь не скудно, — многощедро, — пой и пой.
Все сказать о ней нет власти. Лишь скажу: земные страсти
Подражают ей отчасти, зажигая отблеск свой.
По-арабски кто влюбленный, тот безумный. Точно сонный,
Видит он невоплощенной уводящую мечту.
Тем желанна близость бога. Но пространна та дорога.
Эти прямо, от порога, досягают красоту.
Я дивлюсь, зачем, бесправно, то, что тайна, делать явно.
Мысль людская своенравна. Для чего любовь — стыдить?
Всякий срок здесь — слишком рано. День придет, не тронь тумана.
О, любовь — сплошная рана. Рану — нужно ль беречь?
Если тот, кто любит, плачет, это только то и значит,
Что в себе он жало прячет. Любишь, — знай же тишину.
И среди людей, средь шума, об одной пусть будет дума.
Но красиво, не уग्रюмо, скрытно, все люби одну.

1. Сказ о Ростэване, царе арабском

Был в Арабии певучей царь от бога, царь могучий,
Рати сильного — как тучи, вознесенный Ростэван.
Многим витязям бессменный знак и образ несравненный,
Птицезоркий, в зыби пенной все увидит сквозь туман.
Был красивым он и в слове. Дочь имел, дитя любви:
Солнце — очи, ночи — брови, вся — звезда среди светил.
Петь о девице пышнокудрой может разве только мудрый,
Облик девицы чернокудрой многих вмиг поработил.
Кто на это солнце глянет, вдруг ее рабом он станет,
Сердце, душу, ум заманит та, чье имя Тинатин.
Да навек пребудет славным, средь столетий полноправным,
Это имя, солнцеравным, будет имя — властелин.
Царь, когда красы царевны в возраст влились полнопевный,
Созвал знатных и, безгневный, посадил вокруг себя.
Молвил: «Вот предмет совета. Роза знает время цвета.
Отцвела, — нет больше лета, — сохнет, венчик свой дробя.

Солнце всходит и садится. Село, смотрим, тьма дымится.
Ночь безлунная клубится. День исчерпан мой сполна.
Потускнела позолота. Старость — груз. Нет горше гнета.
Вот умру — одна забота. И дорога всем — одна.
Где же свет, что тьму просветит? Пусть ваш разум мне ответит.
Пусть венец чело отметит светлой дочери моей».
Все ответили, вздыхая: «Речь твоя зачем такая?
Роза, даже отцветая, всех душистей и светлей.
И ущербный месяц ясен. Луч звезды вполне прекрасен, —
Спор звезды с луной напрасен. Так, о, царь, не говори.
От тебя и злое слово — всем нам крепкая основа.
Лик же солнца золотого, дочь твоя, светлей зари.
Дай ей царство, дай царенье. Быть женой ей назначенье.
Но от бога смысл правленья ей указан с вышины.
Отлучался ты когда-то, — и сияла без заката.
Уж когда в пещере львята, — львица, лев вполне равны».
Автандил вождя был сыном. Он в изяществе едином
Кипарисом по долинам между стройными блистал.
Как хрусталь был знаменитый, звездной шествовал орбитой,
С Тинатин мечтою слитый, без нее он увядал.
Как цветок среди тумана, страсть была в нем скрытой раной.
Роза страсти, вновь румяна стала, чуть предстал пред ней.
О, любовь есть истязанье. Тот, кто любит, весь — терзанье.
Все ж он жаждет приказанья углем стать среди огней.
В час как деве безгреховой царь велел, беспрекословный,
Власти дар приять верховный, веселился Автандил:
«Тинатин — как блеск запястья. Ей пристойно полновластье.
Видеть солнце, — это счастье, лик ее — источник сил».
Царь, как мрак дробя алмазом, повелел своим приказом:
«Да пребудет царским глазом, царской волей Тинатин.
Приходите все арабы. В похвалах не будьте слабы.
Здесь — сверканье, и когда бы ночь была, она — рубин».
Все арабы приходили. Знатных блеск умножен в силе.
Видит крепость в Автандиле многотысячность бойцов.
Весь порядок воинств явлен. И когда был трон поставлен,
Всем народом он прославлен: «Свет его превыше слов».
Тинатин, лицом сияя, воле царской послушая,
Вся горела, золотая, и венец он возложил,
Скипетр дал он чернобровой, дал ей царские покровы,

И она звездою новой воссияла средь светил.
Царь ушел, воздав почтенье. Вознеслись благословенья.
Были молвлены хваленья. Звон кимвалов с звуком труб.
Новый царь с лицом царицы был как в тучке лик денницы —
Цвета ворона — ресницы, пурпур зорь — изгибы губ.
Мнится ей, что недостойна трон отца занять, и стройно
Стан склоняет, беспокойно слезы льет, как дождь в саду.
И отец, увещевая, молвит: «Чадо — жизнь двойная.
Мне равна ты, дочь родная. Я в огне, и я в бреду.
Ты не плачь, как цвет в долине. Царь Арабии ты ныне.
Горный замок на вершине. Будь же зоркой и цари.
День ко всем выходит алым. Так и ты будь доброй к малым.
Кто наклонится к усталым, тот умножит алтари.
Будь открытой милосердью. Будь как бы щедротной твердью.
Знай, что доброму усердью подчиняются сердца.
Свяжет вольных — свет во взоре. Будь такою же, как море, —
Реки скрыв в своем просторе, влагу жертвуй без конца.
Расточая вдвое, втрое, расцветешь ты как алоэ,
Это древо вековое, чье в Эдеме бытие.
Щедрость — власть, как власть закала. Где измена? Прочь бежала.
Что ты спрячешь, то пропало. Что ты отдал, то твое».
Дева слушает с вниманьем те слова, что дышат знаньем,
Всем отцовским увещаньям у нее привет один.
Царь и пьет, и веселится. Нет причин ему затмиться.
Солнцу хочется сравниться в блеске с светлой Тинатин.
За своим дворецким старым шлет, чтоб шел он с пышным даром,
Чтоб в даяньи щедро — яром истребил сполна казну.
«Все неси. Всего мне мало». И без меры раздавала.
Не гадала, не считала. «Никого не обману».
Все дары, что знала с детства, собирала с малолетства,
Все блестящее наследство в день единый раздала.
Ей отцовская наука — достоверная порука.
Как стрела летит из лука, так поспешною была.
«Всех мулов, ослов ведите». Повелела пышной свите:
«Дорогих коней явите». Топот, ржанье, кони тут.
Блещет шелк. Толпой солдаты, царской милостью богаты,
Веселятся, как пираты, как разбойники берут.
Точно турок в горных срывах бьют, — и нет числа счастливых.
Рой арабских пышногривых легконогих мчат коней.

Разметалась, отдавая, словно буря снеговая: —
Стар ли, дева ли молодая, были все богаты в ней.
День прошел. Был пир веселый. Пили, ели, точно пчелы.
На цветах. Один, тяжелой думой царь был омрачен.
С наклоненной головою он сидел перед толпою.
Шепот шумной шел волною: «Отчего печален он?»
Крася ликом пир медовый, властный в бой вести суровый,
И как лев скакнуть готовый, солнцеликий Автандил
Был с Согратом знатным рядом, и его проворным взглядом
«Почему так чужд отрадам царь?» он быстро спросил.
«Верно, мысль пришла какая, неприветная и злая», —
Отвечал Сограт, вздыхая: «Горя — нет, и весел — час».
Автандил сказал: «Так спросим. Слово шуточное бросим.
Мы без пользы тяжесть носим. Почему стыдит он нас?»
Автандил с Согратом встали, кубки полные им дали,
И веселые упали на колени пред царем.
Говорит Сограт шутливый: «Царь, ты точно день дождливый,
Нет улыбки, нет красивой на немом лице твоём».
И добавил он лукаво: «Впрочем, сердце в скорби право:
Дочь твоя — она забава, все богатства роздала.
Не давай ей пышной части, и, лишивши царской власти,
Упасешься от напасти и уволишься от зла».
Усмехнулся царь. Такого ожидать не мог он слова.
На советчика скупого все же глянул он светло.
«Я ценю твоё раченье. И достоин ты хваленья.
Но скупое попеченье никогда ко мне не шло.
Нет, не в том моя забота. Старость близится, дремота.
И остаться не охота без достойного бойца.
Дней увяло все цветенье, и не передал уменья
Быть бойцом без посрамленья никому я до конца.
Это правда, дочь имею, холил дочь, обласкан ею.
Все ж я сына не лелею. Не дал бог. И нет уж сил.
Кто здесь луком отличится? Или в мяч со мной сразится?
Автандил едва сравнится, ибо я его учил».
Гордый, юный, весь — стремленье, слушал эти восхваленья.
И с улыбкою смиренья затаил он торжество.
Как улыбка та пристала к лику юного, где ало
Рот горел, — как снег блистала белизна зубов его.
Царь спросил: «Чего смеешься? И чего ты робко жмешься?

Ну, зачем не отзовешься? Или я тебе смешон?»
Юный молвил: «Разрешенье дай сказать мне, в оскорбленье
Не вменяя дерзновенье. Да не буду осужден».
Царь ответил: «Молви слово. Не приму его сурово.
Скрепа клятвы — святость крова, имя светлой Тинатин».
Автандил сказал: «Так смело молвлю: хвастаться не дело,
Но моя б стрела поспела в цель верней, о, властелин.
Под твоими я ногами прах. Но, меряясь стрелами,
Буду первый, — пред полками эту клятву я даю.
Кто со мной в стрельбе сравнится? Ты сказал. Тут что ж судиться.
Может этот спор решиться лишь с мячом, с стрелой, в бою».
Царь сказал: «Не будем вздорить, на словах не стану спорить.
Дайте лук. Чье имя вторить будут после, так решим.
Пред свидетелями в поле будем мы на вольной воле,
Там о нашей молвят доле: кто ловчей, победа с ним».
Автандил повиновался. И на том их спор прервался.
Каждый весел был, смеялся. Чуждым был им взгляд косой.
Был заклад меж них скрепленный: тот, кто будет побежденный,
С головою обнаженной, три он дня ходи такой.
И двенадцать слуг примерных царь призвал для этих верных
Состязаний беспримерных, чтоб давали стрелы им.
«Пусть двенадцать их за мною за любой следят стрелою.
Шермадин один с тобою, хоть один, он несравним».
Ловчим молвил: «По равнинам, как гроза стадам звериным,
Соберитесь, и единым обоймите их кольцом.
Пусть помогут вам солдаты». Пир окончен, пир богатый.
Были вина, ароматы, и веселье за столом.
Автандил, чуть солнце встало, был одет уж в цвет коралла,
Лик рубина и кристалла в золотом горел огне.
Под покровом златовейным, весь он был цветком лилейным.
Так явился чудодейным он на белом скакуне.
Царь разубран знаменито. Весь народ кругом как свита.
Поле воинством покрыто. Всяк охоту видеть рад.
Многоокая облава. Смех, и шутки, и забава.
На кого-то глянет слава? Будут биться об заклад.
Царь велит готовить стрелы, чтоб во все послать пределы.
Счет велит им делать смелый, всех ударов верный счет.
И рабов двенадцать верных ждет тех выстрелов примерных.
Будут стрелы в козах, в сернах. Отовсюду дичь идет.

Без числа стада, как тени. Быстроногие олени.
Скачут козы в белой пене. Мчатся дикие ослы.
Чудо видеть — и какое! Бег напрасен, — бьют их двое.
Тетиве не спать в покое, многократен свист стрелы.
Топчут конские подковы пыль. Покров встает суровый.
Солнце скрыл. А в жертве новой, просвистав, дрожит стрела.
Кровь течет по шерсти белой. Новый свист, несутся стрелы,
Дрогнет зверь и, онемелый, рухнет, — сразу жизнь ушла.
Если ж кто стрелой лишь ранен, прочь бежит, но бег обманен,
Нет исхода, неустанен этот ток разящих стрел.
И не зеленью, не новью, все поля покрылись кровью,
Бог, исполненный любовью, в небе гневом возгорел.
Кто смотрел на Автандила, как рука его стремил
Ход стрелы, как верно била, как к нему кругом все шло,
Видя зрелище такое, сердце словом тешил вдвое:
«Он прекрасен, как алоэ, что в Эдеме возросло».
Минул день, зверям печальный. Смерян бег равнины дальней.
На краю поток хрустальный об утес волну дробил.
В темной чаще звери скрылись. Кони там бы не пробились.
Отдыхали, веселились Ростэван и Автандил.
Нет предела их утехам. И один сказал со смехом:
«Метче я!». Другой же эхом: «Метче я!» — сказал в ответ.
И зовут двенадцать верных. «Чьих же больше стрел примерных?
Счет чтоб был из достоверных. Правда — сплошь, а лести — нет».
Отвечают: «Затемненья правде нет, и, без смягченья,
Ты не выдержишь сравненья, царь, тебе враждебен счет.
Хоть убей нас, нет нам дела, но тебе мы скажем смело:
Где его стрела летела, зверь ни шагу там вперед.
Всех две тысячи убили. Двадцать лишку в Автандиле
Смерть нашли. В той меткой силе промах луку незнаком.
Как наметит, так уж строго — зверю кончена дорога.
А твоих собрали много стрел, рассыпанных кругом».
Царь смеется, смех кристален. Злою мыслью не ужален,
Он ничуть не опечален. «Что ж, победа не моя».
За приемного он сына рад, в том счастье, не кручина.
Любит сердце — что едино, любит роза соловья.
Миг вкушая настоящий, вот сидят они у чаши.
Как колосьев строй шуршащий, смотрит воинов толпа.
Возле них двенадцать смелых, ни пред чем не оробелых.

Видно, как в лесных пределах вьется водная тропа.

2. Сказ о том, как царь арабский увидел витязя, одетого в барсову шкуру

На опушке, над потоком, в тоскованьи одиноком,
Странный витязь был, в глубоком размышленьи над рекой.
За поводья вороного он коня держал, и снова
Слезы лились из немого сердца, сжатого тоской.
Как небесными звездами, все сияло жемчугами,
Млели нежными огнями и доспехи и седло.
Был как лев он, но стекали слезы, полные печали,
По щекам, где розы вяли, а не искрились светло.
Был в кафтан одет он бурый, сверху ж барсовою шкурой,
И сидел он так, понурый, в шапке барсовой склонясь.
Толстый хлыст в руке был зримым. Так сидел он нелюдимым.
Точно был окутан дымом, весь — волшебный, весь — томясь.
Раб идет к нему с вопросом от царя, но пред утесом
Вид тех слез, подобных росам, точно стать ему велел.
Пред такою силой горя замолчи, или не споря,
Плачь, как плачет в пропасть моря дождь, узнавши свой предел.
Раб в великом был смущеньи, трепетаньи и сомненьи,
И смотрел он в удивленьи на печального бойца.
«Царь велит прийти», — сказал он наконец, вздыхал и ждал он.
Витязь нем, и не слышал он, не поднимет вверх лица.
С наклоненным книзу ликом, весь в забвении великом,
Не внимал окружным крикам, изливал с слезами кровь.
Длил он странные рыданья, трепетал в огне сгоранья,
Нет терзаньям окончанья, слезы льются вновь и вновь.

Свеян ум его куда-то. Мысль его свинцом объята.
Раб идет путем возврата, не добившись ничего,
Снова царское посланье повторял, но нет вниманья,
Никакого нет вещанья розоцветных губ его.
Раб вернулся без ответа: «На мои слова привета
Он был глух. Мой взор от света солнца яркого погас.
Я жалел его невольно. Сердце билось больно-больно.
Вижу, ждать уже довольно, протомился целый час».
Царь дивился. Дивованье перешло в негодование.

Изрекает приказанье он двенадцати рабам:
«Вы оружие берите, всей толпой к нему идите
И скорее приведите мне того, кто медлит там».
Исполняя приказанье, вот рабы идут. Шуршанье
Слышно ног, звенит бряцанье их доспехов. Витязь встал,
Весь в слезах еще. Но взором вскинул. Видит, тесным хором,
Люди с воинским убором. Вскрикнув: «Горе!» замолчал.
Вытер он глаза руками, укрепил колчан с стрелами,
Меч с блестящими ножнами. Вот на быстром он коне.
Что ему — рабы, их слово? Направляет вороного
Прочь куда-то, никакого им ответа, — он во сне.
Тут, его схватить желая, вмиг — к нему толпа живая,
Вот рука, и вот другая устремилась. Смерть им в том
Одного он о другого раздробил, рукою снова
Чуть махнул, убил, иного до груди рассек хлыстом.
Пали трупы вправо, влево. Царь кипит, исполнен гнева.
Он кричит рабам, но сева Смерти — жатва собрана.
Юный даже и не глянет на того, кого он ранит.
Кто домчится, мертвым станет, участь всем пред ним одна.
Царь разгневан, горячится, на коня скорей садится.
С Автандилом вместе мчится, чтоб надменного настичь.
Но, как в искристом тумане, как на сказочном Мерани,
Не принявши с ними брани, он сокрылся, кличь не кличь.
Увидав, что царь в погоне, что за ним несутся кони,
Он, в мгновенной обороне, вдруг, хлестнув коня, исчез.
Точно в пропасть провалился или в небо удалился,
Ищут, нет, и след сокрылся. Ничего. Как в мгле завес.
Хоть следов копыт искали, — нет, исчез в какой-то дали.
Словно призрак увидали, призрак был один лишь миг.
По убитым плачет кто-то. И о раненых забота.
Молвил царь: «Пришла работа. Видно, злой нас рок настиг».
Он сказал: «Всех дней течение было только наслажденье.
Бог изведаль утомленье — видеть счастье без конца.
Вот и стал восторг обманен, — как и все, непостоянен, —
Я всевышним насмерть ранен, отвратил он свет лица».
Так вернулся он, угрюмый, затенен печальной думой.
Вмиг забыты были шумы состязаний и пиров.
Стон кругом сменялся стоном. Грусть царя была законом.
Не приученный к препонам, дух легко упасть готов.

Ото всех сокрытый, в дальней царь сидел опочивальне,
Размышлял он все печальней, что погас веселья свет.
Видел только Автандила. Все рассеялись уныло.
Арфа вздохи не струила, стук не слышен кастаньет.
Тинатин о той потере счастья слышит. В полной мере
Чувство в ней. Она у двери. И к дворецкому вопрос:
«Спит ли он или не спит он?» Тот в ответ: «В тоске сидит он.
И ни с кем не говорит он. Стал он темен, как утес.
Автандила лишь как сына приняла его кручина.
Витязь в этом всем причина, странный витязь на пути».
Тинатин рекла: «Уйду я. Но коль спросит он, тоскуя,
В тот же час к нему приду я, как велит к себе прийти».
Царь спросил: «Где та, в которой ключ живой, что точит горы,
Свет любви, что тешит взоры?» Был ответ ему тогда:
«К бледной, к ней, достигло слово, что печаль в тебе сурова.
Здесь была. И будет снова. Лишь скажи, придет сюда».
Царь сказал: «Скорей идите, и ко мне ее зовите.
Лишь в одной жемчужной нити красота всегда светла.
Пусть отцу вернет дыханье. Пусть излечит тоскованье.
Ей скажу, о чем терзанье, отчего вдруг жизнь ушла».
Вняв отцовское веленье, Тинатин, как озаренье,
Полнолунное виденье, перед ним блеснит красой.
Он ее сажает рядом, смотрит полным ласки взглядом,
И целует, и к отрадам вновь открыт своей душой.
«Почему не приходила? Или звать мне нужно было?»
Дева кротко возразила: «Царь, когда нахмурен ты,
Кто дерзнет к тебе явиться? Пред тобой и день затмится,
Пусть же ныне разрешится этот скорбный дым мечты».
Он сказал: «Родное чадо! Быть с тобой моя услада.
Грусть прошла, ты радость взгляда, точно зелья ты дала,
Чтоб рассеять муку властно. Но, хоть я терзался страстно,
Знай, не тщетно, не напрасно мысль к печальному ушла.
Повстречался мне безвестный витязь юный. Свод небесный
Был красой его чудесной словно радугой пронзен.
Я не мог узнать причины слез его, его кручины.
Хоть в красе он был единый, но меня разгневал он.
Чуть ко мне метнувши взором, вытер слезы, скоком скорым
На коня вскочил, — я спорым овладеть велел, но вмиг
Разметал моих людей он. Кто он? Дьявол? Лиходей он?

Я без слова был осмеян. Вдруг исчез, как вдруг возник.
Был ли он иль нет, не знаю. Горький ад на смену раю
Я от бога принимаю. Прошлых дней погашен свет.
Этой скорби не забуду, не бывать такому чуду,
Сколько дней я жить ни буду, мне веселья больше нет».
В голос звук вложив напева: «Соизволь,—сказала дева,—
Слово выслушать без гнева. Обвинять нам хорошо ль
Этот промысел всезрящий? Бог и к мошке добр летящей.
Если он раскинул чащи, разве в них он дал нам боль?
Если витязь был телесным, не видением чудесным,
На земле другим — известным он, конечно, должен быть.
Встанет весть, придет к нам слухом. Если ж он лукавым духом
Был и скрылся легким пухом, что ж тоской себя губить.
Вот совет мой, повелитель: над царями ты правитель.
Зри кто хочет, — где тот зритель, чтобы твой измерил свет?
Так пошли людей, — пусть ищут, целый мир пускай обрыщут.
Уж они ответ отыщут, смертный это или нет».
Царь зовет гонцов проворных, между лучшими отборных,
Чтобы в поисках дозорных не жалели ни труда,
Ни стараний, ни усилий, чтобы каждого спросили,
Где тот витязь, гордый в силе, и чтоб шли скорей туда.
Вот гонцы в далекой дали. Целый год они блуждали.
Никого не увидали, кто бы витязя встречал.
Все напрасны вопрошанья. Бесполезны их исканья.
Были долги их блужданья, — был успех их вовсе мал.
Пред царем рабы предстали. Преисполнены печали,
Так его оповещали: «Хоть искали мы везде,
Труд бесплоден был, хоть честен, — нам скорбящий лик уместен,
Никому он неизвестен. Укажи, искать нам где?»
Молвил царь: «Мне дочь сказала правду. В скорби смысла мало.
Здесь змея являла жало, — это был нечистый дух.
Мне мой враг был с неба свеян, это им я был осмеян.
Да блудит среди затей он, — чист мой взор и волен слух».
Позабыт им дух лукавый. Снова игры и забавы.
Песнопевец ищет славы. Закрутился акробат.
Юным царь велел и старым веселиться. Светлым чарам
Нет предела. Царским даром не один опять богат.
Автандил — полуодетый. Вкруг него играют светы.
Арфы звон и песни спеты. Вдруг гонец от Тинатин,

Черный раб в его покое: «Та, чей образ — лик алоэ,
Шлет веление такое: к ней иди, о, господин».
Светлой вестью очарован, Автандил встает, взволнован.
Тот наряд, что облюбован, самый лучший, он надел.
Видеть розу, быть с любимой, в том восторг незаменимый.
С красотой несравнимой быть — пленительный удел.
Автандил идет к ней смело. Ни пред кем не оробела
Мысль его. И пусть горела много раз слеза о ней,
Хочет видеть лик певучий той, чье пламя — свет горючий
Молний, рвущихся из тучи, кто горит луны сильней.
Та жемчужина жемчужин. С горностаем свет тот дружен.
Смотрит взор обезоружен. Ткань на нежной — без цены.
Сердце жгущие ресницы — словно ночь вокруг зарницы.
Шея млечна у царицы, косы тяжкие черны.
Хоть одета в свет коралла, но печали не скрывала,
Автандила привечала, сесть велит ему она.
Юный сел пред ней смиренно. Сердце любит, сердце пленно.
Взор во взор глядит забвенно. Мысль усладой зажжена.
Витязь молвит: «Ты, золотая, светишь, страхи рассеивая.
Вот, я нем. В зарю вступая, месяц солнцем вмиг сожжен.
Я не мыслю на досуге. Я не вихрь на вольном луге.
Но в каком волшебном круге, чем твой грустный ум смущен?»
Вот изящными словами, выбрав их, как меж цветами
Те, что ярче лепестками, привлекают больше глаз,
Дева молвит: «Хоть со мною не одною ты стеною
Разделен, но я, не скрою — страх твой странен мне сейчас.
Но скажу сперва пред другом, чем терзаюсь, как недугом.
Помнишь день, когда над лугом, близ утеса, над рекой,
Над водой реки хрустальной некий витязь был печальный,
Как слезу с слезой хрустальной лил он, мучимый тоской,
С той поры томлюсь всегда я. Мысль о нем, не уставая,
Жалит, жалит, точно злая бысролетная оса.
Знаю я, что ты из смелых. Так ищи его в пределах.
Всей земли — до тучек белых, что восходят в небеса.
Сердце в чувстве сердцу радо. Хоть меж нас была преграда,
Но без слов, лишь силой взгляда, увидела ясно я,
В одиноком отдаленьи, что в любовном ты плененьи,
Что горишь в изнеможеньи, и дрожит душа твоя.
Видим зорко мы друг друга. Будет мне твоя услуга

Точно витязю кольчуга, — и к тебе идет она.
Ты ведь витязь несравненный. И, любя, ты любишь, пленный.
Витязь тот — твой брат забвенный. Мысль искать его должна.
Ты любовь мою удвоишь. Скорбь мою ты успокоишь.
Злого демона укроешь. И фиалками маня,
Свеешь розы, расцветишься. И потом ты озаришься.
Лев, ты к солнцу возвратишься, встречу, встретишь ты меня.
Так ищи же мне в угодую. Трижды год уйдет пусть к году.
Но не канул же он в воду. Если ты найдешь его,
Приходи, увенчан славой. Если ж нет, он дух лукавый.
К розе нежной холод ржавый зла не светит своего.
Мой расцвет не затемнится. О, клянусь, любовь продлится.
Пусть хоть солнце воплотится, мужем став, — с ним сердце слив,
Преисподняя пусть злая отсечет меня от рая,
В сердце мне любовь, терзая, смертью внидет, нож вонзив».
Витязь молвил: «Лик денницы! Почему дрожат ресницы?
Почему агат царицы в трепетаньи огневом?
Заслужил ли подозренье? Смерти ждал, — и жить веленье
Получил. В повиновеньи буду я твоим рабом».
Он сказал еще: «Златая! Ты заря, ты солнце рая.
Бог всевышний, создавая, быть тебе здесь солнцем дал.
Ты велишь, — идут планеты. Весь тобой я в блеск — одетый.
Мой цветок, живые свету взяв в себя, пребудет ал».
Луч — к лучу, и к слову — слово. Вот они клянутся снова.
Сердце нежное — медово, и любовь подтверждена.
Все минувшие печали чем-то очень легким стали.
Зубы белые блистали, как от молний — вышина.
О, какая им утеха — быть вдвоем, как с эхом эхо,
Средь веселья, шуток, смеха, говорят о ста вещах.
Молвит он: «Тебя, златая, можно знать — лишь ум теряя.
Сердце вспыхнуло, сгорая, сердце — пепел, жгучий прах».
Но пришел конец уладам. Он прильнул к кристаллу взглядом.
Побледнел, и слезы градом. Хоть ушел, да не ушел.
Незнакомое с обманом, сердце он, в гореньи рьяном,
Отдал сердцу. Так к румяным розам льнут касанья пчел.
Он сказал себе: «Златая! Вот уже разлучность злая.
И рубин мой, увядая, стал желтее янтаря.
Без тебя как быть в разлуке? Но стрела готова в луке.
В честь любимой сладки муки. Смерть приму — тобой горя».

Он в постели, сны мнутся. Брызги слез обильно льются.
Так листки осины быются, как, скорбя, он трепетал.
Странен уху шорох каждый. Дух его исполнен жажды.
Стала пытка пыткой дважды, — сон о ней он увидал.
В том терзаньи отлученья — ревность, помыслы, мученья.
Слез горячих истечение — словно нитка жемчугов.
Но тревожный сон напрасен. Брезжит день, — он снова ясен.
На коне своем, прекрасен, едет, путь принять готов.
За дворецким в зал приемный посылает, и хоть скромный,
Но в стремлении неумный, он царю реченье шлет:
«Мысль мою, о, царь, не скрою: Ты царишь над всей землею.
Весть о славе, взятой с бою, да ко всем кругом придет.
В путь пойду и не устану. Воевать с врагами стану.
Если недруг, в сердце рану нанесу в честь Тинатин.
Непокорный да смутится, а покорный веселится.
Ток даров не прекратится. Да горит огнем рубин».
Изъявив благодаренье, царь ответил: «Лев! Стремленье
Рук твоих — всегда в сраженье. Смелость молвит твой совет.
В путь иди, в страну чужую, позволение я дарую.
Но, коль ты разлуку злую будешь длить, мне счастья нет».
Пред лицом царя представши и почтение воздавши,
Витязь молвит: «Услыхавши звук похвал, я изумлен.
Сколько счастья в этом звуке. Легче с ним — расстанья муки.
Бог уменьшит час разлуки. Светлый лик твой — мне закон.
Мысль свидания лелею». Царь упал к нему на шею.
С полной нежностью своею в нем он сына целовал.
Нет таких, как эти двое. Бьется сердце в них благое.
Засветило ретивое в Ростэване слез кристалл.
Вот уходит витязь смелый в чужеземные пределы.
Двадцать дней уж день он белый с черной ночью слил в одно.
В ней, златой, восторг вселенной, клад сокровищ сокровенный,
С Тинатин он мыслью пленной, ею сердце зажжено.
Входит в горы, входит в доли. Чуть он где, там пир веселый.
Речи выются, точно пчелы. Все приносят щедрый дар.
Солнцеликим, светловзорым, в переходе этом скором,
Слух склоняя к разговорам, он не медлит в свете чар.
У него была твердыня. Замок горный на вершине.
Три он дня там медлит ныне. Шермадин — как верный с ним.
Вся душа его, вся сила, сердце все — для Автандила.

Но ему неизвестно было, тот горит огнем каким.
Витязь молвит Шермадину: «Стыдно мне, но стыд содвину.
Я скрывал свою кручину. Но теперь откроюсь, верь.
Были пытки, были грозы. Я ронял несчетно слезы.
Но от той жестокой розы — луч отрады мне теперь.
К Тинатин моя истома. К ней любовь, о ней вся дрема.
Без конца у водоема слезы к розе лил нарцисс.
Боль открыть не мог доныне. Я томился как в пустыне.
Но теперь конец кручине. Упованья мне зажглись.
Мне сказала: «Неустанный, ты ищи, где витязь странный.
А когда вернешься, жданный, сердцем все возьмешь свое.
Ты как цвет к цветку над лугом. Лишь тебя возьму супругом».
Пусть утрачу счет услугам. Раб, да вознесу ее.
Я ведь витязь, — так прилично мне служить ей безгранично.
Верность трону лишь обычна. Раз слуга, служи вовек.
Взяв ее бальзам сладимый, стих пожар неукротимый.
Если ж в далях беды зримы, встретить их, встретить — как человек.
Между всех кто подчиненный, ты один мне приближенный.
Связан дружбой неуклонной я с тобою. Потому
Над моею всей дружиной, ты, владыка, будь единый,
Лишь тебе тот рой орлиный я доверю одному.
Правь же твердою рукою. Для бойцов, идущих к бою,
Ты пример являй собою. И к двору посланья шли.
И в дарах будь вне сравненья. Будь мое здесь повторенье,
Чтоб мое исчезновенье и заметить не могли.
Мною будь в военной славе и в охотничьей забаве.
Так три года, честно правя, тайну свято сохраняй.
Может быть, мое алоэ будет цвести себе в покое.
Если ж встречу роковое, плачь по мне, скорби, вздыхай.
Шли царю оповещение, что, увы, пришло затмение.
Будь как пьян от огорченья. «Нежеланна смерть, — скажи, —
В край, откуда нет возврата, он ушел». Сребро и золото,
Все раздай, чем жизнь богата, и ничем не дорожи.
Так поможешь мне — отменно. Пусть погибнет то, что бrenно.
Но про душу, неизменно помня, медли забывать.
Сон и смерть — в черте соседства. Вспомни наше малолетство,
И, мое вспомнив детство, сердцем будь ко мне как мать».
Слышит раб — и весь слезами залился, как жемчугами.
Меркнет взор его, огнями беспокойными сквозя.

«Сердце ль будет веселиться, коль тебя оно лишится?
Но, когда твой дух стремится, удержать тебя нельзя.
Мне велишь принять господство. У меня какое ж сходство
Есть с тобою? Превосходство вижу мысли я другой —
Будешь ты один, я внемлю. Лучше ж пусть уйду я в землю.
Но разлуки не приемлю. О, возьми меня с собой!»
Витязь молвил: «Все сомненья прочь отбрось без промедленья.
Тот, кто любит, в ком томленье, пусть лишь в обществе своем
Он тоскует, бродит, бьется. Жемчуг даром ли дается?
Кто ж изменник, да сметется, в сердце раненный копьем.
Тайны кто моей достоин? За тебя же я спокоен.
Будешь верным мне как воин. Укрепляй оплот твердынь.
Враг забудет приближенье. И, быть может, дней течение
Принесет мне возвращенье. Боже, вовсе не покинь.
Рок, губя, не знает счета, сто ли здесь, один ли кто-то.
Духов благостных забота не оставит. Верь судьбе.
Не вернусь я в срок трехлетний, — ткань надень темней, бесцветней.
Чтоб почтен ты был приветней, дам я грамоту тебе».

3. Грамота Автандила к его приверженным

Пишет к верным витязь славный: «Вы, чей дух, всегда исправный,
Приказаньям, тенью равной, внявши, верил и служил, —
Здесь мой голос, полнозвучно, да прочесть не будет скучно,
Я пишу собственноручно, прах пред вами, Автандил.
Вы, наставники, внемлите. Вы, приверженцы, склоните
Слух. Вы, юноши, спешите мне внимать, собравшись в круг.
Я хочу, на дней течение, только петь, побыть лишь в пенье,
А дневное прокормленье — руки мне дадут и лук.
Я одно замыслил дело. И до дальнего предела
Я один направляюсь смело. Буду странствовать я год.
Я прошу лишь о едином: если враг к моим дружинам
Подойдет разящим клином, — верный пусть отпор найдет.
Повинуйтесь Шермадину все, как мне, как господину.
Как отец сияет сыну, будет солнцем он для вас.
С ним и роза не завянет, никого он зря не ранит,
Если ж злой кто, воском станет и растопится сейчас.
Вам известно, как росли мы, тем же чувством едиными.

Он как брат мне, сын любимый. Он второй вам Автандил.
Рог — ему. Его веленья да свершат без промедленья.
Если ж нет мне возвращенья, пусть бы каждый погрузил».
Свиток с выбором богатым слов, сияющих закатом.
Препоясаясь он златом, и чтоб ехать одному,
Приготовился. Дружины строй построили единый.
«Я поеду вдоль равнины», — молвил он, не ждал в дому.
Он не хочет быть с бойцами. Расстается он с рабами.
Поспешает тростниками. Хочет быть теперь один.
Никого ему не надо. Грусть в пути ему услада.
Есть жестокая для взгляда солнце-роза, Тинатин.
В ликованьи одиноком конь промчался полным скоком.
Вот уж он невидим оком. И кругом не взглянет он.
Кто бы с ним не повстречался, меч его не засвечался.
Ибо сумрак в нем качался, нежной грустью осенен.
А бойцы его, в печали, все властителя искали,
Но нигде им не сверкали блески жданного лица.
Лица их в тоске бледнели. Где он? Где? В каком пределе?
И того, кого хотели, тщетно ищут без конца.
Лев! Кого на месте львином бог поставит господином?
Шел тот возглас по дружинам. Ищут там и ищут тут.
Вопрошают, слышат вести: «Образец высокой чести,
Нет его, но был в том месте». И дружины слезы льют.
Всех воителей отборных, благородных и придворных,
Для решений договорных Шермадин сзывает в круг.
Им он грамоту читает, каждый слышит и рыдает,
Каждый грудь себе терзает, точно в тяжкий впал недуг.
Все сказали: «Без него мы — будем кем иным ведомы?
Он тебя в свои хоромы с должным правом посадил.
В чем ни будет повеленье, наше в нем повиновенье».
И решению хваленье воздают по мере сил.

4. Сказ о том, как Автандил искал Тариэля

Есть свидетельство писанья, что достойно состраданья
Видеть тленье увяданья в розоцветных лепестках.
Роза нежная румяна — пред рубином Бадахшана,
Но от едкого тумана алый цвет — морозный прах.

Автандил, в тоске беззвучной, по равнине едет скучной,
Стук копыт четырехзвучный беглеца уносит вдаль.
За арабские пределы он уехал, онемелый,
Грусть его — как колос спелый. «Близ нее прошла б печаль».
Свежий снег упал с морозом. Жало изморози — розам.
Сердце, отданное грозам, он хотел пронзить не раз.
«Рок умножил в девяносто раз печали, даже до ста»,
Он промолвил: «Это просто неизбывность. Горький час.
Уж забыл я ликование, арф и звонких лир бряцанье
И свирели напеванье, той, чье имя нежно, най».
Так в печали безответной вянет пламень розоцветный.
Но в сердечной мгле заветной молвил он: «Не унывай».
Так не вовсе он туманным был в томленьи нежеланном.
По местам он ехал странным, не теряя час в домах.
Спросит тех, кто на пороге, и кого встречал в дороге.
Взоры грустного не строги — будит ласку он в сердцах.
Ищет он того, чье горе током слез наполнит море.
Прах — постель ему в просторе, а подушкою — рука.
И в разлуке с дорогою мыслит: «Сердцем я с тобою.
Но желанней мне, не скрою, смерть, чем жгучая тоска».
По всему лицу земному, по простору мировому,
По всему его объему он блуждал, не найден след,
И ни с кем он не спознался, кто б с тем витязем встречался.
Срок в три месяца остался, — и трех лет уж больше нет.
Прибыл он к стране безлюдной, неприветливой и скудной.
Проезжал дорогой трудной. Не встречал он никого.
Только скорбь в стране пустынной. Только ряд сомнений длинный.
Вечный помысел кручинный об избраннице его.
Он достиг в пути до склона мощных гор. Кругом — зелено.
Многолиственное лоно опускалось к воде.
Лес вокруг, а там равнина. Но пред ней бежит пучина.
Путь в семь дней возьмет ложбина. Но не виден мост нигде.
Круговым путем блуждая, и со вздохом дни считая,
Счел, что в сроках всех до края — лишь два месяца ему.
И скорбит, томясь тоскою. «Как же тайну я открою?»
Не родишь себя собою. Не изменишь в солнце тьму.
Он задумался в сомненьи. Стал в глубоком размышленьи.
«Есть ли смысл мне в возвращеньи? Что ж могу сказать звезде?
Столько дней на вольной воле я блуждал в широком поле.

Что же я узнал? Не боле, как что нет его нигде.
Не вернусь же, будет нужно вновь искать мне, в честь жемчужной,
Снова долгий путь окружный, и длиннейший, совершать.
Дни меж тем свершатся срока. Будет плакать ум и око.
Шермадин, скорбя глубоко, будет смерть мою вещать.
Он к царю пойдет. Заплачет. Нет меня, я умер, значит.
Мысль иная мне маячит, не хочу я скорби их.
Я везде искал, блуждая. Так не скроюсь, пропадая.
А вернусь». И он, рыдая, спутан в мыслях был своих.
«О, зачем, — сказал, — со мною ты дорогою кривою
Ходишь, боже? Всей землею я обманут на пути.
Или я искал напрасно? Мысль — гнездо, где все злосчастно.
Уж не будет в сердце ясно. Уж печалям не пройти».
Снова молвит: «Но терпенье лучше тяжелой мглы сомненья,
Смерть не ищет ускоренья. Да не давит грудь беда.
Что без бога здесь я значу? Лишь напрасно слезы трачу.
Если он не шлет удачу, не случится никогда.
Все, какие есть, созданья видел я среди скитанья.
Но о витязе том знанья не имел никто из них.
Не достигнешь цели стоном». Он спускается по склонам.
Тихо едет по зеленым побережьям вод лесных.
Ропот вод, дерев шуршанье будят в нем воспоминанье
О тщете его исканья. Он коня пускает в скак.
Сила длани истощилась. Гордость сердца замутилась.
Ширь долин пред ним открылась. Путь его еще далек.
Он решает возвращенье. Но сердечное мученье
Вздохи льет, воскликновенья. Он глазами мерит путь.
Целый месяц все сурово. Лица нет нигде людского.
Звери там, и звери снова. Стрел не хочет в них метнуть.
Но, хоть весь истосковался, сын Адама в нем сказался, —
Автандил проголодался. Застрелил дичину он.
Наземь сел над тростниками. Трав сухих сложил с сучками.
Высек пламень, огоньками для него костер зажжен.
Он коня пустил кормиться. Мясо жарится, дымится.
Вот к нему отряд стремится странных всадников, их шесть.
Молвил: «Бег коней отличен. Вид безвестных необычен.
Он разбойникам приличен. Что-то скрытое здесь есть».
Взял он в руку лук и стрелы, и предстал пред ними смелый.
Меж бородатых, онемелый, безбородый был вedom.

Он шатался, словно пьяный. Голова его от раны
Кровью искрилась румяной. Он казался мертвецом.
Витязь молвил: «Братья, кто вы? Увидав, как вы суровы,
Думал я — к добыче новой здесь разбойники спешат».
«Помоги нам», отвечали. — «Будь без страха, и в печали
Будь нам друг, чтоб мы рыдали, видя твой грустящий взгляд».
С опечаленными ими, как окутанными в дыме,
Речь ведет он. «Как вам имя?» Говорят они в ответ: —
«Без печали мы, три брата, жили-весело, богато,
Там, где крепость, ввысь подъята, в славном крае Кхатаэт.
Слышим, зверь есть для ловитвы. Снарядившись, как для битвы,
Мы отправились в гонитвы, взяв бесчисленных бойцов.
Мы стреляли с звонким криком, и в веселии великом
Взгляд остря на звере диком, мчались возле берегов.
Тех стрелков, что были с нами, мы срамили, не словами,
Метко бьющими стрелами. Утверждал любой из трех:
«Лучше я, чем ты, стреляю». — «Нет, я метче попадаю».
Спорам нет конца, ни краю. Кто же в споре будет плох?
Нагрузив олени шкуры на бойцов, весь строй их хмурый
С грузом той добычи бурой отпустили мы домой.
Всех защитников отправив, луконосцев лишь оставив,
Сердце вдосталь позабавив, все ж мы тешились стрелой.
Конским бегом пыль взметая, в зверя в скоке попадая,
Наша вся семья младая веселилась по лугам.
По лесам и по пещерам. Смерть оленям и пантерам.
Взвидим птицу в лете сером, вмиг падет, как камень к нам.
Споры, шутки, смехи, шумы. Вдруг мы видим: полный думы,
Витязь мрачный и угрюмый, на коне он вороном.
Как на сказочном Мерани. Шкура барсова на стане.
Лик красивый, от сияний, небывалым бьет огнем.
Мы глядим на лик блестящий. Трудно вынести свет горящий.
«Это молний блеск летящий. Это солнце на земле».
Так шептали в изумленье. И хотели в дерзновенье
Взять того, кто в огорченьи слезы лить нам дал во мгле.
Старший, я просил меньшого, пусть мне даст бойца лихого,
Средний просит вороного, младший просит боя с ним.
С младшим оба мы согласны. Да спешит он к схватке, страстный.
Витязь едет, весь прекрасный и ничем невозмутим.
Щеки грустного — как розы. На увядших видны слезы.

Нет в глазах его угрозы. Не заводит с нами речь.
Едет, взор к нам не склоняя. Но тому, кто встал, дерзая,
Участь им дана Лихая, — хлыст его упал как меч.
Отступив с дороги сами, мы смотрели, как пред нами
Едет он, — тут вдруг руками младший брат его схватил.
«Стой!» — вскричал он с дерзновеньем. Тот размеренным движеньем
Поднял хлыст, одним раненьем брата на земь покати́л.
С рассеченной головою пал он, кровь бежит струею,
Как земля он стал с землею, — он, как труп, к земле готов.
Так сражен был дерзновенный, с прахом был сравнен смиренный,
Он же скрылся прочь, надменный, — смел, и светел, и суров.
Нет, чтоб к нам оборотился. Тихо ехал, тихо скрылся.
Вон там блеск его явился. Видишь, солнце и луна».
Видят очи Автандила: — он, чей лик есть лик светила.
Быстро грусть в нем проходила. Значит, правда найдена.
Витязь молвит: «Бесприютный я скиталец, в поминутной
Грусти, с грезой попутной, я искал везде того.
Через вас он найден мною. Пусть господь своей рукою
Разлучит вас с скорбью злою. Сердцем так молю его.
Встретил я мое желанье, вижу сердца упованье.
Пусть вам бог пошлет даянья. Пусть излечится ваш брат».
Свой уют им показал он, и еду свою им дал он.
«Брат ваш ранен, и устал он, отдохнуть здесь будет рад».
Так сказал. С судьбой не спорил. Быстро он коня пришпорил.
Свой полет вперед ускорил, точно сокол в вышине.
Так луна горит младая, встречу солнца упреждая.
И заискрится золотая радость солнца по луне.
Но, подъехав, многодумный, он замедлился, бесшумный.
«Если речь начать, безумный может в ярость впасть вдвойне.
Мудрый трудное деянье совершит без колебанья,
И без спешки, твердость знанья выявляя в тишине.
Если столь он ослепленный и в рассудке поврежденный,
Что и к речи, обращенной с добрым чувством, слеп и глух,
Мы, сойдясь, придем лишь к бою, — или я его рукою,
Или он сраженный мною, — вновь исчезнет он, как дух».
Автандил сказал: «Продленье колебанья и мученья
Бесполезно. Нет сомненья, не живет он без гнезда.
Пусть исчезнет предо мною, хоть за плотною стеною,
Где очаг его, открою и приду к нему туда».

День прошел и сумрак сходит. Полночь звезды хороводит.
Двое суток путь уводит их обоих все вперед.
И ни слова не сказали. И нигде не отдыхали
И не ели. Лишь в печали каждый витязь слезы льет.
Вот с вечернею зарею скалы встали над скалою.
В них пещеры над рекою. Возле влаги камыши.
Не исчислить их, считая. И к утесам припадая,
Мощь деревьев вековая воздымается в тиши.
В плащ одет пятнисто-бурый, витязь с барсовой шкурой
Въехал в мрак пещеры хмурой. Автандил же бег коня
Правит к древу, осторожен. Слез. Проворный конь стреножен.
Стал кормиться, бестревожен. Вздох слышался, стена.
Автандил на ветке древа. Смотрит вниз он. Как из зева,
Из пещеры вышла дева, в черной мантии она.
С кликом слезы проливала, с плеском волн свой стон мешала,
И скитальца обнимала, и печальна, и нежна.
Грустный витязь молвил в горе: «О, сестра Асмат! В уборе
Ночи! Мост наш рушен в море. Не найти нам той, что жжет».
И рука его терзала грудь его. И слез немало
Дева с грустным проливала. Каждый стонет в свой черед.
Рвут волосы, и лес густеет. Юный кровью пламенеет.
Обнял деву и жалеет, а она о нем скорбит.
Стонут с плачем и мученьем. Стонет эхо повтореньем.
Автандил же с изумленьем на рыдающих глядит.
Дева первая устала. И хоть в сердце было жало,
Вороного провожала в глубь пещерную коня.
Расседлала. Также другу помогла снимать кольчугу.
И печальному досугу предались с закатом дня.
Автандил надивовался. Тут какой-то смысл скрывался.
«Как узнаю?» День занялся. Дева, в черном вся, как ночь,
Вышла, звякнула уздою, и воздушною фатою
Вытирает, не пустою хочет помощью помочь.
Подает бойцу доспехи. Он не медлит здесь в утехе.
Здесь ни радости, ни смехи неизвестны никогда.
Обнялись. Поцеловала. Снова было слез немало.
И, одна, глядит устало, вся — печаль и вся — беда.
Автандил бойца молодого пред собой увидел снова.
Облик солнца золотого промелькнул, заря ушла.
Дух красавца — дух алоэ. В нем бесстрашно ретивое.

Льва убить ему пустое, — так, как льву загрызть козла.
Тот же путь он выбрал ныне, что и раньше, по равнине.
Едет, дух предав кручине, проезжает тростники.
Автандил, смотря, дивился. Он меж веток древа скрылся.
«Бог на зов мольбы склонился. Здесь конец моей тоски.
Тайну выявить наружу дева я, схватив, принужу.
Кто тот витязь, обнаружу. Тайну ей скажу мою.
Бог дарует указанье. Не вступлю я в состязанье.
Не приму меча касанье, и его я не убью».
Полон кротости, не гнева, отвязал коня от древа,
Из пещеры вышла дева, услышавши стук копыт.
Грустной деве показалось, это — солнце возвращалось.
Радость в лике отражалась, зарумянилась, спешит.
Лик иной вдруг увидала. Сходства с прежним было мало.
С криком быстро побежала, чтобы спрятаться в скалах.
Витязь скок с коня проворно. Он схватил ее. Повторно
Слышен долгий крик. Упорно бьется птицею в сетях.
И взглянуть ей даже гадко на него. Орлина хватка.
Но трепещет куропатка, убегая от орла.
Тариэля призывая, плачет дева молодая.
Витязь молит, убеждая, чтоб в себя она пришла.
«Тише, — молвит, — нет здесь срама. Я же честный сын Адама.
Не грозит тебе здесь яма. Знаю я, как горячи.
Эти розы и фиалки. Знаю, как бледнеют, жалки.
Не жужжи, как ропот прялки. Умоляю. Не кричи.
О, не будь же беспокойной. А скажи, кто этот стройный
Кипарис красою знойной?» Падал наземь Автандил.
А она в тревоге шумной повторяла: «Ты безумный.
Если ж нет, заметь, что гумны цепь ни разу не пробил.
Сколь ты легок, вопрошая. Скрыта тяжесть здесь большая.
Но напрасно, поспешая, нудишь ты сейчас ответ.
Грусть чрезмерна, чрезвычайна. Стон не вырвался случайно.
И на зов: «Скажи, в чем тайна», — я одно промолвлю: «Нет».
«Если б знала ты, откуда», — молвит он, — вникая в чудо,
Я пришел, тогда б отсюда не гнала с пустой рукой.
Пусть, тебе надоедая, я тесню тебя, но, зная,
Как молю я, убеждая, не робей же предо мной».
Дева молвит: «Кто ты? Что ты? Этот гнет зачем заботы?
Скал угрюмых повороты солнце скрыли от меня:

Ты пришел, морозный холод. Долгой речью ум расколот.
Хоть моли, хоть бей, как молот, — здесь не выманишь огня».
Вновь коленопреклоненья, уговоры, убежденья.
Тщетно все. От нетерпенья ярым гневом он зажжен.
На лице негодование, крови брызнуло пыланье.
Деву за косы он дланью, к горлу нож приставил он.
Воскликает витязь страстно: «Что ж, я плакал здесь напрасно?
Так зловолье безучастно? Нас обоих не губя,
Быть не дай в мученьи строгом. Или, вот клянуса богом,
Смерть врагу, и пред порогом смерть тебе, убью тебя».
Дева молвит: «Цели силой добиваться — путь постылый.
Раз убил, — взята могилой. Тайну гроб укроет мой.
Почему, пока терзанья длятся, делать мне признанья?
Но убьешь, — для упованья заодно могилу рой».
И еще она сказала: «Или горя было мало?
Для чего меня искало это сердце? Для чего?
В языке нет сил, ни знанья, чтоб сказать повествованье.
Я — прочтенное посланье. Увидал, — порви его.
Знай, что смерть мне не лишенье. Прекратит тщету томленья.
В ней запруда для мученья. Что мне, если я жива?
Мир — мякина мне пустая. Но, тебя совсем не зная,
Как сказать мне, доверяя сокровенные слова?»
Витязь мыслит: «Эти речи, может быть, другим предтечи.
Но они еще далече. Как сплести вернее нить?»
Сел, заплакал. Молвит дева: «На меня ты, знаю, в гневе.
Злое семя было в севе. Это мне не пережить».
Дева в лике омрачилась. Еще сердце не смягчилось.
Витязь плачет. Все затмилось. Больше он не говорит.
Розоцветный сад светлеет. Нежный цвет росу лелеет.
Дева плачет и жалеет. Сердце грустному стремится.
Жаль ей витязя. Но дума непокорная угрюма.
Туча так струит без шума на деревья мрак теней.
И с чужим сидит чужая. Витязь, все в ней замечая,
Видит — вот она другая. На колено стал пред ней.
Говорит, склоняя вежды: «Рассердилась. Нет надежды.
Как без пищи, без одежды — здесь я. Вовсе не затми.
Мне шепнуло помышленье, что простишь ты прегрешенье.
Мы должны давать прощенье, и не раз, а до семи.
Хоть мое начало службы было дурно, почему ж бы,

Пожалев любовь, ты дружбы не явила мне сейчас?
Мне помочь никто не может. Сердце жизнь тебе предложит.
Все возьми. Но пусть поможет мне сестра на этот раз». О любви его услыша, дева плачет, громче, тише.
Переменно так по крыше светлый дождь стучит весной.
Вырастает жалоб сила. Влага розу оросила.
Бог к желанью Автандила лик склонил приветный свой.
Мыслит он: «Она, бледнея, уж не роза, а лилея.
Верно любит». И смелея, снова молвит: «О, сестра!
В ком любовь ярит горенье, жалость к тем — без исключенья.
Враг тут знает сожаленья. Смерть в любви — всегда пора.
Я в любви, я влюбленный, словно разума лишенный.
Я, зарей моей зажженный, послан витязя найти.
Где я в поисках скитался, даже день не зажигался.
Сердцем я тебя дождался. Сердце дай мне обрести.
В мысли, в тайне сокровенной, он живет запечатленный.
Лик его как лик священный. Света нет душе моей.
Мчусь безумный в мир суровый. О, разбей мои оковы.
Дай зажечь мне жизнью новой, или, скорбь сгустив, убей».
Чувства полная иного, уж не так теперь сурово
Дева, глянув, молвит слово: «Больше здесь теперь добра.
Ты вражду сейчас посеял, и вражду, печалясь, свеял.
Друга ты во мне взлелеял, я вдвойне тебе сестра.
Если, помощи желая, говоришь, к любви взывая,
Я тебе сестра родная, верь в усердную слугу.
Если сердца не явлю я, обезумленный, тоскуя,
Ты погибнешь. Пусть умру я, но тебе я помогу.
Так внимай моим внушеньям. Отнесись с повиновеньем
К указаньям и веленьям, и придет конец беде.
Если ж слушаться не будешь, состраданья не пробудишь,
Достиженья не принудишь, и, скорбя, умрешь в стыде.
Хоть страдает сердце страстно, но другое — безучастно,
Если ты упрям напрасно. В чем твой долг, ты сам суди».
Витязь, речью довод строя, слово вымолвил такое:
«Где-то странствовали двое. Проходивший впереди
Пал в колодец, не выдавши. Задний, быстро подбежавши,
Вскрикнул: «Горе!» Повздыхавши, молвит другу: «Ты пожди,
Здесь помедли. Я же, ловкий, побегу, вернусь с веревкой,
И тебя моей сноровкой кверху вытяну, гляди».

Тот в колодце дивовался, снизу громко рассмеялся:
«А куда бы я девался? Расскажи, куда пойду?»
Так веревкою своею ты, сестра, обвей мне шею,
Без тебя я не сумею разрешить мою беду».
Дева молвит: «Речь угодна мне твоя, и с правдой сходна.
Витязь добрый, благородно мыслишь ты и говоришь.
Коль, блуждая в чужедали, знал такие ты печали,
Пусть тебе бы отдых дали, пусть ты боль свою смиришь.
Коль в исканьи неустанном хочешь сердцем постоянным
Знать о витязе том странном, о себе он скажет сам.
Кто так долго ждал, дождется и того, что он вернется.
Роза снегом не затрется. Не давай ее слезам.
Как зовемся здесь мы сами, знай, владея именами —
С безнадежными мечтами грустный витязь — Таризель.
Я — Асмаг. Всегда сгораю. Нет тоске конца, ни краю.
Вздых ко вздоху подбираю, и стенаю как свирель.
О красивом, что на воле бродит, сетуя о доле,
Не могу сказать я боле, хоть желала б, ничего.
Тем кормлюсь, что беспокойный привезет с охоты знойной.
Может, вдруг вернется стройный. Может, долго ждать его.
Подожди. Как возвратится, может, сердце в нем смягчится.
С ним смогу я сговориться, и полюбит он тебя.
Сам тебе он все расскажет, сердце скорбное покажет.
И венок — твой разум свяжет — той, о ком скорбишь, любя».
Словно нежный звук напева, слушал он, как молвит дева.
Оглянулись, — слышен слева от прогалин всплеск воды.
Это месяц, весь лучистый, — приближался серебристый,
И они к пещере мглистой поспешают от звезды.
Дева молвит: «Витязь, горе бог твое рассеет вскоре.
Горьких слез иссякнет море. Спрячься там внутри скорей.
Всяк ему да подчинится, или злое приключится.
Может, гневность в нем смягчится, овладеть сумею ей».
В глубь пещеры Автандила дева в спешности сокрыла.
Витязь слез с коня. Светило стрел в колчане острие.
Меч его горит блестящий. Плачут оба. Чаше, чаще
Слезы льют. Поток дрожащий. Скорбь сильна. Не скрыть ее.
Грустный витязь с девою черной в скорби плакали упорной.
Был печален стон повторный. Автандил из-за угла
Видит все, сокрыт стеною. Повод взяв своей рукою,

Вороного за собою дева молча увела.
Автандил в тюрьме, но волен. Он уж больше не бездолен.
Здесь разгадка, — он доволен. Шкура барсова снята.
Он на ней сидит, суровый, витязь, знающий оковы
Тяжкой грусти вечно новой. Слез янтарна красота.
Тех ресниц, того агата ткань сквозная кровью смята.
Но добыча дня богата. Дева жарит дичь ему.
Не смотря, кусок он сунул в рот себе, жевнул, отплюнул.
Он не сваял, он не сдунул тень, что клонит ум во тьму.
Он прилег. Уснул. Но вскоре с болью тайной в разговоре,
Крик за криком, словно в хоре, устремляет он в борьбе.
Палкой в темя ударяет, камнем грудь обременяет.
Дева смотрит и терзает ногтем все лицо себе.
Плача, дева молвит слово: «Почему вернулся снова?
Что в пути ты встретил злого?» Витязь молвит ей в ответ:
«Там охотничьи забавы, царь какой-то в блесках славы.
Ловчих целые оравы. Зверя выследили след.
Вид людей мне был докучен. Крик людской был слишком звучен,
В лес я спрятался, измучен, прочь отпугнутый толпой.
Не погонятся за мною, — завтра выеду с зарею».
Дева с новою тоскою смотрит, взор блестит слезой.
Говорит ему: «Лишь в чаще твой товарищ — зверь рычащий.
Степь кругом и лес молчащий. Горы в сумрачной тени.
В чем имеешь развлеченье? И кому свое томленье
Доверяешь в миг сомненья? Ты напрасно губишь дни.
Сколь обширна ширь земная. Где же та душа родная,
Чтоб, тебя не раздражая, быть с тобою в беге дней?
И, впадая в раздраженье, не уменьшил ты мученья.
Коль умрешь, тут нет спасенья. Этим как поможешь ей?
Он сказал: «Сестра, в певучей речи — свет, как свет есть в туче.
Но для этой раны жгучей на земле бальзама нет.
Пусть уж станет смерть пределом, чтоб душа рассталась с телом.
Стихну сердцем онемелым. Будет в этом нежный свет.
Где под тою же планетой дух явился, в плоть одетый?
Песни, тем же звуком спетой, где знакомая игра?
Кто мои тяготы примет? Тяжесть доли приподымет?
Одного лишь не отнимет мрачный рок — тебя, сестра».
Дева молвила с мольбою: «Если мне перед тобою
Суждено моей судьбою быть как визирем тебе,

Не могу скрываться, зная. В том, что крайность, сила злая.
Ты же все пределы края перешел в своей борьбе».
Витязь молвит: «За твоими здесь словами все как в дыме.
Что сказать ты хочешь ими? Говори ясней со мной.
Как найти могу такого, чтобы в нем была основа?
От страдания немого сам я стал как зверь лесной».
Дева молвит снова: «Знаю, я тебя обременяю.
Но тебя я вопрошаю: если б я нашла кого,
Кто своею доброй волей жить твоей хотел бы долей,
Жить с тобой среди раздолий, — ведь не ранишь ты его?»
Отвечает: «Сердцем буду только радоваться чуду.
Той, которой не забуду, кем безумно брежу я,
С ним клянусь я быть любезным, не коснусь мечом железным,
Как звезде в луче созвездном — вот ему любовь моя».
Дева вышла. Автандила ободряя, говорила:
«Он не гневен». Приходила вместе с ним рука с рукой.
Как звезда с луною ясной. Таризель четой согласной
Восхищен: «Здесь лик прекрасный солнца с утренней зарей».
Таризель пред Автандилом как светило со светилом.
Свет по тучкам среброкрылым плавит солнце и луна.
Перед ними алоэ — точно дерево любое.
Семь планет в небесном рое — их краса нежна, сильна.
В чем еще найти сравненье? Вот, не чувствуя смятенья,
Хоть чужие, без смущенья, будто были дружны встарь,
Обнялись, поцеловались, розы губ их раскрывались.
Гиацинты изменялись, обращен рубин в янтарь.
Таризель, схвативши руку Автандила, вылил муку
В токе слезном. Ту науку четко знал и Автандил.
Шепчет им Асмаат внушенья, диво-слово утешенье:
«Да не будет вам затмения. Небо мертво без светил».
Словно утренним морозом холод чуть прошел по розам
Таризеля. Все же грезам дух его еще открыт.
Говорит: «Ответь скорее. Кто ты? Что в уме лелея,
В мир пошел ты? Я, бледнея, даже смертью здесь забыт».
Автандил ему, учтивый, в речи мерной и красивой,
Говорит ответ правдивый: «Таризель! Смелчак и лев!
Я — араб и приближенный. Край арабов благовонный
Я оставил, весь сожженный, на огне любви сгорев.
Дочь царя, царицу ныне, я люблю. Тебя в кручине

Видел я давно. В пустыне то случилось лесной.
Вспомни день, когда ты, сильный, смерти дал улов обильный, —
Устремивши в мрак могильный нападавших целый рой.
На равнине ты томился. На тебя мой царь гневился.
В ссоре этот гнев излился. Звали мы, но медлил ты.
Звали мы тебя трикраты. За тобой пошли солдаты.
Расцветил ты цвет богатый, все кровавые цветы.
Ты, меча не обнажая, лишь с плеча свой хлыст вздымая,
Ранил, череп рассекая, — свист, и пасть бойцы должны.
Царь в погоню, но в мгновенье ты сокрылся, как виденье.
Всех объяло изумленье. Были мы поражены.
В скорби царь был ночи равен. Разум царский своенравен.
Захотел, чтоб был ты явен, обнаружен перед ним.
Розыск шел, и ходом ярим. Все старанья были даром.
И ни юным ты, ни старым не был ведом, был незрим.
Тут она меня послала, та, пред кем и солнце мало,
Не вполне сияет ало, кто нежнее, чем эфир.
Говорит: «Узнай об этом солнцеликом». И с обетом —
«Все, что хочешь» — как с заветом, я пошел в широкий мир.
Три мне года было срока. Без нее скорбел глубоко.
Я скитался одиноко. Но никто тебя не знал.
Повстречались мне три брата. И на них была подъята
Длань твоя. Страшна расплата. Старший все мне рассказал».
Бой давнишний, что напрасно начат был, припомнил ясно
Тариэль, и все, согласно с точной правдой, влил в слова.
Молвил: «Четко помню дело. Хоть уж много пролетело
Дней с давнишнего предела, память их еще жива.
Вы охотничьи забавы длили, полны гордой славы.
Утоптали всюду травы. Я же плакал над рекой.
Мыслил я о том, чья сила счастье сердца погубила.
Что вам трогать нужно было сердце, взятое тоской?
В этом сумрачном пределе от меня чего хотели?
Сколь несхожи в самом деле смех — и слезы на щеках!
Вы схватить меня желали. К потонувшему в печали,
Вы рабов ко мне послали. Что же? Спят они в гробах.
Раздались повсюду крики. Оглянулся, вижу лики.
Жаль царя мне, — и, владыки не коснувшись, скрылся я.
Конь бывает мой незримым. Он исчезнуть может дымом.
Как о нем, неукротимом, скажет лучше речь моя?

Не моргнешь, в мгновенье ока вот уж я совсем далеко.
Те, напавшие, жестоко пострадали от меня.
Только дерзкие посмели, длань качнул я еле-еле,
Руки их оледенели, дерзновенный пал, стена.
Ты же с помыслом достойным, солнцеликим, солнцезнойным,
Кипарисом встал здесь стройным, ты, испытанный во днях.
Знаешь, что есть сердца смута. Но не каждая минута
Даст того, чье бремя пута — бог, забывший в небесах».
Автандил сказал: «Меня ли будешь ты хвалить? В печали
Непоблекшему пристали все высокие хвалы.
Мне ль с тобой идти в сравненье? Лик небес, что пал в течение
Дней земных, чрез помрачение ты прошел — не взявши мглы.
Ныне та, чей блеск и сила сердце мне в любви затмила,
Мной забыта. Чтоб служила лишь тебе душа, хочу.
Гиацинт горит прекрасно. Но хочу эмали страстно.
Вплоть до смерти, полновластна, ты. С тобой служу лучу».
Таризель сказал: «Смущенный, пред тобой я — изумленный.
У тебя, в душе зажженной, вижу, огонь — ко мне зажжен.
Что в отплату ты имеешь? Ведь о милой пламенеешь.
Но влюбленного жалеешь, как влюбленный. В том — закон.
Госпоже своей — примерный был слуга ты в службе верной.
Бог дорогой достоверной вел тебя. Мы здесь сидим.
Как же только я сумею поделиться той моею
Тайной? Чуть в словах я с нею, — буду пламя, буду дым».
Таризель молчал мгновенье. Был он весь воспламененье.
И Асмат его реченье: «Только твой со мной был лик.
Что ж меня так знаешь мало? Разве вынешь это жало?
Но — и в нем печаль пылала. Я пред витязем — должник».
Он промолвил к Автандилу: «Посвящая брату силу,
Должно смерть принять, могилу. Здесь утрата не страшна.
Губит бог одной рукою, чтоб спасти кого другою.
Что бы ни было со мною, расскажу я все сполна».
Он сказал Асмат: «Пока я буду, мысль свою терзая,
Речь вести, быть может, злая пытка чувств лишит меня.
Ты мне грудь облей водою. Труп же видя пред собою,
Плачь, стеная надо мною, плачь, могилой затеня».
Стал готовиться он к речи. Расстегнулся. Наги плечи.
Был как солнце, что далече, с потухающей зарей.
Роза уст сверкнуть бессильна. Губы сжаты. Скорбь могильна.

Вскрикнул. Слезы льют обильно. Влажный огонь бежит струей.
Простонал. «Любовь! Родная! Мысль моя! Виденье рая!
С древа жизни ветвь живая! Чьей ты срезана рукой?
Столько раз воспламенилось, сердце, ты. Так больно билось.
Как же не испепелилось до сих пор в борьбе такой!»

5. Сказ Таризля о себе, когда он впервые сказал его Автандилу

Так даруй же мне вниманье. Я скажу повествованье,
Чувства выявлю, деянья, — уж таких не будет вновь.
Я не жду от той покоя, кем я брошен в пламя зноя,
Ей безумен, мрак свой строя, изливаю током кровь.
Знаешь ты, и всем известно, семь есть в Индии чудесной,
Семь царей. Но повсеместно Фарсадану — шесть корон.
Он властитель был великий, смелый, пышный, львиноликий,
Вождь царей и в битве дикой предводитель воинств он.
Царь седьмой, и с нравом рьяным, был отец мой, Сариданом
Звался он. Пред вражьи станом не был, гибельный, вторым.
Кто имел бы дерзновенье, явно ль, тайно ль, оскорбленье
Нанести тому, чье зренье, как копье, пронзит и дым.
Не любя уединенья, он любил охоту, пенье,
Принимал судьбы решение, не заботясь ни о чем.
Но с грозой идут темноты, и к нему пришли заботы.
Вопросил себя он: «Кто ты?» И сказал: «Беру мечом».
В крае все храню я части от врагов и от напасти.
Недруг прогнан. Тверд во власти я царю, и блеск мне дан.
Так пойду же к Фарсадану, пред властительным предстану.
Перед ним склоняюсь, я встану, новым светом осиян».
Принимает он решение. Фарсадану извещение
Шлет: «Всей Индией правленье надлежит царю, тебе.
Сердцем всем и всей душою, ныне я перед тобою
Говорю: твоим слугою буду в славе и в борьбе».
Фарсадан, услыша это, полон радости привета.
Слово шлет ему ответа: «Бога я благодарю.
Царь ты Индии венчанный, как и я. Когда неожиданный
Дар мне шлешь, ты мне желанный. Молвлю брату и царю».
Царством чтит его, как даром. Назначает амирбаром,
Также амирспасаларом, — полководец главный то.

Правя властью полноправной, царь он не самодержавный,
С главным в этом лишь не равный, а в другом над ним никто.
Моего отца с собою равным царь считал. Порою
Молвил: «Горд моей судьбою: где такой есть амирбар!».
То в охоте беспокойной, то в войне и битве знойной,
Все вдвоем четою стройной. Знак был в нем особых чар.
Я — не он. Хотя благородство есть во мне мое. Но сходства
Нет меж двух. И превосходство было в нем свое всегда.
Был бездетен царь с царицей, хоть лучистой, грустнолицей.
Оттого своей сторицей за бедой пришла беда.
Горе! В час, огнем богатый, гроз готовятся раскаты.
Амирбару в день проклятый был дарован я как сын.
Царь сказал: «Того же рода он, что я, — одна природа.
Пусть он, — в этом мне угода, — возрастет как властелин».
Царь меня с царицей взяли, как свое дитя. Печали
Я не знал. Меня качали, пели ласковый напев.
Люди мудрые учили, возвращали в царской силе.
И как солнце был я или как встряхнувший гриву лев.
Я к Асमत сейчас взываю. Если ложно, что вещаю,
Ты скажи. Я утверждаю, что когда пяти был лет,
Нежной розой я светился, льва убить не тяготился,
Фарсадан уж не мрачился, что родного сына нет.
Бледен. Крови в лице мало. Но Асमत рассвет мой знала,
Знает, как заря блистала, расцветая юный день.
Хороша краса младая. Говорили: «Он из рая».
А теперь я что? Немая мгла того, что было. Тень.
Пять годов — как свет зарницы. А у царской роженицы,
Дочь родилась у царицы». Юный горестно вздохнул.
Грустный взор блеснул слезою. Обомлел он, взят тоскою.
Грудь Асमत ему водою освежила. Отдохнул.
Молвил: «Сила огневая, что горит во мне сжигая,
И тогда была золотая. Мой бессилует язык
В похвалах. Пред Фарсаданом, торжествующим, румяным,
Все цари — в усердьи рьяном. Многократный дар велик.
От царей дары богаты. Светлой радостью объаты,
Принимают их солдаты. Гости — в празднестве живом.
Царь с царицей, нас лелея, смотрят вдвое веселее.
Имя той скажу, что, рдея, сердце мне сожгла огнем».
Имя вымолвить он тщится. Взор сверкнет, и взор затмится.

Чувств лишится. Пот струится с побледневшего чела.
В пытке, с этой пыткой схожей, Автандил тоскует тоже.
Тот очнулся. Молвит: «Боже! Ныне смерть моя пришла.
Девы, лик чей светит ало, что семи годов блистала,
Что луной и солнцем стала, имя — Нэстан-Дарэджан.
С нежной, с ней терпеть разлуку, как такую вынести муку?
Защитишь алмазом руку, — сердцу ж где алмаз тот дан?
Так в поре своей напевной возросла она царевной.
Я возрос, чтоб в бой стозевный устремить горячий взгляд.
Вновь к отцу попал я в руки. В мяч играл, был ловок в луке.
Силен в воинской науке. Львов сражал я, как котят.
Царь воздвиг дворец. Как чара, в нем чертог из безоара,
Из рубинового жара, гиацинтов вырезных.
Для нее. А перед домом — садик малый с водоемом.
Розы в зеркале знакомом длили пламень грез своих.
Днем и ночью, пряном зное, из кадилъниц в том покое
Дымы синие алоэ, желтых пламеней игра.
То в саду она, где тени, то на башне, в сладкой лени.
В этой светлой мигу смене няня — царская сестра.
Овдовевшая в Каджэти, с ней Давар. Не жестки сети.
Дева в ласковом привете научается уму.
В том чертоге озаренном, от других отъединенном,
Дева в мире благовонном провожает день во тьму.
За завесой, как из дыма золотистого, хранима,
За парчой она незримо возросла, кристалл-рубин.
С ней Асмаг и две рабыни. Вместе игры без гордыни.
Расцвела, как цвет в пустыне и как дерево долин.
Мне пятнадцать лет уж было. Сердце было полно пыла.
Воля царская взрастила как царевича меня.
Силой лев и солнце взглядом, как взлелеян райским садом,
Предавался я отрадам: стрелы, меч и бег коня.
С тетивы стрела летела, — бездыханно было тело
Птицы ль, зверя ли. И смело попадал я в цель мячом.
Пирование без срока. Но отдельно, волей рока,
Был от той, что огнеока, с светло-розовым лицом.
Знают смерть и властелины. Умер мой отец. Кончины
Этой день был день кручины для верховного царя.
Скорбь застыла в Фарсадане. Умер — страшный в вихрях брани.
И восторг — во вражьем стане. Льва страшились не зря.

Уничтоженный судьбою, целый год я был тоскою
Омрачен, как цепкой мглою, неутешенный никем.
Вдруг придворные предстали, и приказ мне царский дали:
«Тариэль, не будь в печали. Уж конец рыданиям всем.
Тосковали мы и боле о печальной нашей доле.
Не минуешь божьей воли. Всем приходит нам конец.
Траур кончен. С веком старым день приводит к новым чарам.
Будь отныне амирбаром, и служи нам, как отец».
Вспыхнул я, воспламенился. По отце горел, томился.
Рой придворных преклонился, выводя меня из мглы.
И индийские владыки до меня склонили лики,
Как родители, велики, но любовны и светлы.
Близ своих сажали тронов, возвещали власть законов,
Чтоб служил я без уклонов, долгу весь отдав свой жар.
Я упрямился, страшился заменять отца. Но длился
Спор недолго. Подчинился. Отдал честь — как амирбар».

6. Сказ Тариэля о том, как он полюбил, когда впервые он полюбил

подавив свои рыдания, он продлил повествование.
«В некий день, — воспоминанье жжет, ему не скрыться прочь,
От забав, охоты дикой я домой пришел с владыкой.
Он сказал мне, светлоликий: «На мою посмотрим дочь».
Руку взял мою... Ужели не дивишься в самом деле,
Что душа осталась в теле, вспоминая эти дни?
Сад увидел я блестящий. Голос птиц там был журчащий.
Не споет сирена слаще. Водомет струил огни.
Ароматы розы сладки. Ткань над дверью. Златы складки.
Те лесные куропатки, что с охоты нес с собой,
Ей отдать — царя веленье. Тут мое воспламенение.
Здесь начальный миг служенья. Долг, назначенный судьбой.
Чтобы сердце из гранита было чем-нибудь пробито,
Что найдешь? Но жало свито — адамантовым копьем.
Царь, я ведал, не желая, чтоб была его золотая
Кем увидена, сдвигая ткань завесы, входит в дом.
Я стоял в саду, пред домом, возле роз над водоемом,
Сердцем отданный истомам ожидания и чар.
Слышит ухо шелестенье, речь Асмат и повеленье

Дать царевне приношение, что подносит амирбар.
Колыхнулась ткань волною. За завесой той дверною,
Вижу, дева предо мною. В сердце мне вошло копье.
И Асмаат взяла добычу. Я же вспыхнул. Вечно кличу:
«Жар! Горю!» Но возвеличу тем лишь рдение мое».
Тот, что солнечного света ярче был, сказавши это,
Не найдя на вскрик ответа, пал, издавши горький стон.
Автандил с Асмаат рыдали, горы эхо повторяли.
В мрачной молвили печали: «Всех сражавши, сам сражен».
Вновь обрызган он водою. Сел, объят кручиной злою,
Стонет. Льется за слезою щеки жгущая слеза.
«Горе мне!» — его реченье. — «Сколь великое волнение!»
Только вспомню, — помышление, мысль о ней мне, как гроза.
Я недаром горько плачу. Тот, кто верует в удачу,
Знал восторг — и скорбь в придачу: обольстит, — чтоб обмануть.
Мудрость тех скорей хвалю я, кто не жаждет поцелуя
От судьбы. Все доскажу я, коль смогу еще вздохнуть.
Были взяты куропатки. Я ж, исполненный загадки,
Не бежал я без оглядки, — наземь рухнул бездыхан.
Как пришел в себя, рыданья вокруг меня и восклицанья,
Словно звуки провожанья, мой корабль — до дальних стран.
В пышной я лежу постели. Царь с царицею сидели возле.
Плач — как звук свирели. Стоны слиты в долгий гул.
Щеки ранят. Кровь струею. И муллы сидят толпою.
Говорят, что надо мною колдовал Вельзевул.
Увидав, что жизнь лелею я еще, меня за шею
Обнял царь рукой своею: «Сын! Хоть слово мне одно!»
Страхом взятый исступленным, снова чувств я был лишенным.
Кровь потоком разъяренным в сердце канула на дно.
А в молчании глубоком все муллы следили оком,
Знак какой здесь послан роком. Был в руках у них коран.
«Недруг рода здесь людского», — таково их было слово.
Трое суток чуть живого, жег огонь, и был он рдян.
Меж врачей опять сомнение и одно недоумение:
«На такой недуг леченья — нет. Печаль владеет им».
Прыгал, как умалишенный. Речь была лишь бред сплетенный.
Слезы в горести бессонной льет царица. Дни — как дым.
Трое суток во дворце я был, меж смертью-жизнью рея.
Ум вернулся. Разумея, что случилось со мной,

Я сказал: «Увы! Лишенный жизни, призрак я смущенный».
И в молитве вознесенной вскрикнул я: «Создатель мой!
Узри терны затрудненья, и услышь мои моления.
Дай мне сил выздоровленья. Встать с постели дай мне сил.
Тайну здесь я ненароком расскажу в бреду глубоком».
Бог услышал. С должным сроком раны сердца закалил.
Я сидел. К царю послали с вестью: «Кончены печали».
Царь с царицей прибежали. Смотрят с лаской на меня.
С головою непокрытой царь стоял, в молитве — слитый.
С ней, царицей, и со свитой. Бог щедротен, нас храня.
Сели оба. Подкрепился пищей я. И оживился.
Молвил: «Царь! Возвеселился дух во мне. Я стал сильней,
Я хочу увидеть поле. На коне скакать на воле».
Царь со мной среди раздолий. Мчимся мы в простор полей.
Конский дух исходит паром. По речным проехав ярам,
Мы вернулись к базарам. Возвратился я домой.
Царь простился у порога. Вновь недуг нахлынул строго.
«Что мне ждать еще от бога? Смерть нависла надо мной».
То лицо, что было рдяно, стало ныне цвет шафрана.
В сердце режущая рана, десять тысяч в нем ножей.
Вот привратник в дверь вступает, к управителю зовет.
«Весть какую этот знает? Тот ли мне принес вестей?»
«Раб Аснат пришел». — «Зови же». — Он вошел. Подходит ближе.
Поклонился низко, ниже. И посланье подает.
В буквах строк — огонь влюбленный. Я читаю изумленный.
В сердце я другом — зажженный. И в моем — огней полет.
Возрастает удивленность. Как сумел зажечь влюбленность?
И откуда непреклонность — изъяснение в строки влить?
Надлежит здесь послушанье. Обвинила бы молчанье.
Написал в ответ посланье, свивши слов цветную нить.
Дни пришли и миновали. В сердце, знающем печали,
Рденья пламени сгорали. Не ходил я в стан бойцов.
Не являлся ко двору я. Принимал врачей, тоскуя.
Мир, однако, жил, ликуя, дань беря моих часов.
Ничего врачам не зримо. В сердце точно сумрак дыма.
Чем печальное палимо, не узнал никто из них.
«Кровь,—сказали, — в ней пыланье». Царь велел кровопусканье
Сделать мне. Чтоб скрыть страданье, дал коснуться рук моих.
Кровь пустили, капли рдели. Грустный, я лежал в постели.

Раб пришел. Мол, речь о деле. — «Что такое?» — «Раб Асмат».
«Приведи». А про себя я размышляю, вопрошая:
«В этом всем она какая, и к чему ведет мой взгляд?»
Раб вручает мне посланье. Весь исполненный пыланья,
Я читаю указанье: «Нужно мне сейчас прийти».
Отвечаю: «Поскорее. Час торопит. Не робея,
Приходи ко мне смелее и не медли на пути».
Я сказал себе: «Сомненья для чего, когда стечение
Всех минут дает решение? Я же царь и амирбар.
Все индийцы мне подвластны. Так не буду я несчастный.
Коль узнают, бурей страстной не такой зажгут пожар».
От царя гонец спешащий. Вопрошает: «Как болящий?»
«Кровь пустили. В настоящий час отрадней мне дышать.
Я к тебе хочу явиться. Мне пристало веселиться.
Лицезреньем насладиться будет радость мне опять».
Ко двору пришел. «Уж боле, — царь сказал, — не будь в неволе».
На конях мы едем в поле. Без колчана, без меча.
Сокола летят как стрелы. Куропаток рой несмелый
Вьется рябью серо-белой. И стрелки спешат, крича.
Тем, что были на равнине, дома пир веселый ныне.
Камень красный, камень синий многим дан, как дар, царем.
И конечно уж свирели в этот день не онемели.
Песнопевцы звонко пели. Шум веселия кругом.
Я борьбу с самим собою вел, но взят тоской был злою.
В сердце огненной волною мысль о ней и мысль о ней.
Пламень — током беспокойным. Я сидел в кругу достойном.
Пил. Зовут — алоэ стройным. Пировал среди друзей.
Вдруг я вижу казначея. Шепчет на ухо: «Робея,
И покровами белея, амирбара ждет одна,
Кто-то». Скрытность восхвалил он. Я велел, чтоб проводил он
В мой покой ее. Укрыл он там ее. И ждет она.
Встал. Друзья хотят прощаться. Я прошу их не стесняться,
Пировать, увеселяться. «Я сейчас вернусь сюда».
Раб стоял в дверях на страже. Трепеща, как пойман в краже,
Я вхожу, и в сердце даже не могу унять стыда.
Женский призрак, как виденье. Изъявляет знак почтения.
Говорит: «Благословенье тем, кто может быть с тобой».
Я дивлюсь на восклицанье. «Нет уменя в ней и знанья,
Как любовное признание скромно выразить душой».

Говорит: «Изнемогая от стыда, пришла сюда я.
Мыслишь — мысль во мне есть злая. Но пришел сюда, спеша.
Уповаю я и верю, что простишь стыда потерю.
Этим спехом — счастье мерю. Успокоилась душа».
Говорит: «Мое реченье ты прими без подозренья.
Исполняю повеленье — той, в чьем сердце страх тебя.
Госпожи моей желанье, вот откуда то дерзанье.
Принесла тебе посланье. Слово скажет за себя».

7. Первое послание, которое Нэстан-Дарэджан написала своему возлюбленному

Я взглянул. Прочел посланье от нее, к кому пыланье.
Луч писал слова-сиянья: «Лев! Ты ранен. Рану скрой.
Я твоя. Не гасни в мленье. Ненавижу расслабленье.
Пусть Асмаат мои реченья повторит перед тобой.
Тоскованье, помиранье, это ль страсть, любви деянья?
Лучше — той, к кому пыланье, мощь свершения яви.
С Кхатаэти ждем мы дани. А они, таясь в обмане
И в зловольи, ищут брани. Эту дерзость оборви.
Еще прежде помышленье мне внушало обручение.
Не нашла для говоренья я минуты до сего.
Словно насмерть пораженным и ума совсем лишенным,
Зрела я тебя взметенным. Зол недуг. Срази его.
В путь же. В бранные забавы. Да узнают их кхатавы.
И вернись в сиянья славы. Это лучше, говорю.
Так не плачь. Чтоб не снежила влага — роз. От солнца — сила.
Посмотри, я обратила ночь темнот твоих в зарю».

8. Первое послание, которое написал Таризэль своей возлюбленной

Сам я видел эти строки. И ответ, не медля в сроке,
Написал: «О, свет высокий, пронизавший синеву.
Лунноликое свеченье. Лишь тебя хочу в горенье».
Был я точно в сновиденьи. И не верил, что живу.
Я сказал Асмаат: «На это больше нет сейчас ответа.
Молви ей: «Ты солнце лета. Ты взошла, и светел я.

Мертвый, знаю воскресенье. В чем бы ни было служенье,
Позабыв изнеможенье, я служу. В том жизнь моя».
Говорит Асмат: «Сказала мне она: «В том смысла мало,
Чтобы весть о том блуждала. Пусть не знают ничего.
Любит пусть тебя для виду, не вменяя то в обиду.
Он придет, к нему я выйду, встречу должно я его».
Я внимал словам совета. Мне казалось мудрым это.
Та, что солнечного света не пускала в свой покой,
Возникать не давши следу, даровала мне победу,
И дозволила беседу с лучезарною, собой.
Дал Асмат я в награжденье драгоценные каменья.
Кубок злат. Ее реченье: «Нет. Мне пышный выбор дан.
Но промолвлю без пристрастья: уж имею я запястья.
Лишь одно кольцо для счастья я беру, как талисман».
Дева вышла. Свет со мною. И не ранено стрелою
Сердце. С мукой огневою суждено расстаться мне.
Стих пожар. Я вновь с друзьями. Наделяю их дарами.
Смех, вино и шутка с нами. Ликование вдвойне.

9. Сказ о том, как Тариэль написал послание и отправил человека к кхатавам

Человека в Кхатаэти я послал, и строки эти
Начертал я: «В ярком свете царь индийский вознесен.
Власть дана ему от бога. Верный — сыт с ним. А дорога
Непокорных — знать, как строго покарать умеет он.
Брат и царь, внемли веленье. Да не знаем огорченья.
Приходи без промедленья. Не придешь, так мы придем.
И прибудем не украдкой. Тот удел не будет сладкий
Для тебя. Вот зов наш краткий. В теле кровь щади своим».
Вестник отбыл. Я душою снова с радостью живою.
Нестерпимою струею уж не жег огонь меня.
Еще радостей немало мне тогда судьба давала.
А теперь тоска опала. Глянет зверь, уйдет, кляня.
В мыслях было дерзновенье. Применял я мощь смиренья.
Но великой жажды тленье отравляло радость мне.
Я с друзьями веселился. Но не раз тоской затмился.
Против рока возмутился не однажды в тишине.

Как-то под вечер сижу я. Мысль о ней, меня волнует,
Нежно жжет меня. Не сплю я. Ночь в любви светлее дня.
Вдруг привратник шепчет что-то. В нем и радость и забота.
Возвещает — раб там. Кто-то с тайной вестью до меня.
Раб Асмат. Она писала, что прийти повелевала
Та владычица, чье жало жгло мне сердце лезвием.
Вмиг сняла с меня оковы. Свет ниспал во мрак суровый.
И объятый жизнью новой я пошел своим путем.
В сад вхожу. Уединенье. В сердце чувствую стеснение.
И Асмат мне в утешенье, улыбаясь, говорит:
«Вот, смягчила я угрозу. В сердце вынула занозу.
Подойди, увидишь розу. Не увядшая горит».
Под волшебным балдахином, где огонь шел по рубинам,
С ликом прелести единым, восседала там она.
Словно вышнее светило. Очи черны, как чернила.
На меня свой взор стремилась, лучезарна, как весна.
Зачарованный, стоял я. Слова ласкового ждал я.
И увы, не услышал я от прекрасной ничего.
Вот к Асмат она блеснула. Та мне на ухо шепнула:
«Уходи!». Душа вздохнула. Пламя было вновь мертво.
За Асмат иду, вздыхая. Скрыла все завеса злая.
И судьбу я обвиняя, молвил: «Вспыхнул в сердце свет.
Было нежное стремление. И вдвойне опустошение
В этой муке разлученья. Больше радости мне нет».
Через сад идем мы двое. Слово мне Асмат такое:
«Не печалься, будь в покое. Для тревоги дверь закрой.
И открой для ликования. Застыдилась, и молчанье
Было скрытое признание. Оттого была такой».
Я сказал: «Сестра, мятежен мрак души. Бальзам твой нежен.
Чтоб я не был безнадёжен, часто вести посылай.
И не делай перерыва. Сердце будет тем счастливо.
Лишь водой живится ива. Влагу жизни не скрывай».
На коня вскочил, и еду. Скорбь — за мной, как бы по следу.
Слезы празднуют победу. Я в постель, и нет мне сна.
Был как цвет я на долине. Был в кристалле и рубине.
Стали щеки густо-сини. Ночь — желанна лишь она.
Вот пришли из Кхатаэти. Я уж думал об ответе.
Были дерзки люди эти. Принесли ответ такой:
«Не трусливы мы сердцами. Мы за крепкими стенами.

Царь твой вздумал править нами? Иль он властен надо мной?»

10. Послание, написанное ханом кхатавов в ответ Тариэлю

Вот слова того дерзанья: «Царь, чье слово — приказанье,
Я, Рамаз, пишу посланье к Тариэлю. Я дивлюсь.
Как послал ты слово зова мне, кто есть племен основа,
Если мне напишешь снова, я прочесть не потружусь».
Я велел созвать дружины. И явились властелины
От границ. Как строй единый, вышних звезд сошлись войска.
Силы Индии могучи. Отовсюду шли, как тучи.
Дали воинов мне кручи, горы, доли и река.
Шли они без промедленья. Осмотрел я их скопленья.
Все в порядке, всюду рвенье. Души, полные огня.
Словно лес восстал зеленый. Чудо видеть эскадроны.
Кони ржут. Горят попоны. Хваразмийская броня.
Поднял царское я знамя. Черный с красным. Рдеет пламя.
Я с несчетными войсками должен завтра выйти в путь.
Сам я плачу и тоскую. На судьбу пеняю злую.
Как увидеть мне златую? Словно камень пал на грудь.
Полон я тревоги жгучей. Слезы льют, как ключ кипучий.
О, судьба, меня не мучай. Сердце ранено мое.
Вот какой мой рок злосчастный, говорил я в пытке страстной.
Я коснулся розы красной, — я не мог сорвать ее.
Раб пришел. Случилось диво. Сердце стало вновь красиво.
От Асма слова призыва. Проблеск в сумраках борьбы.
Говорило то посланье: «Солнце кличет. Будь в сияньи.
Это лучше, чем рыданье о деяниях судьбы».
Скорби мрачной и суровой засветился свет мне новый.
К дверце я пришел садовой. Сумрак был и тишина.
Там Асма меня встречала, улыбалась, привечала:
«Лев! Ты мучился немало. Смело, ждет тебя луна».
Я вошел для счастья часа. Весь чертог одна прикраса.
Над террасою терраса. Свет луны был блеск вполне.
Под занавесом, в сияньи, и в зеленом одеяньи.
Призрак, тонкий в очертаньи, так она явилась мне.
Я вошел. Взглянул забвенно. На краю ковра смиренно
Я стоял. А в сердце пленно утихал поток огня.

До подушки стан склоняя, блеском солнце затеняя,
Лик свой спрятала золотая, быстро глянув на меня.
До Асмат ее веленье: «Амирбару знак почтения».
Сестр велит, и для сиденья, вот подушка мне дана.
Сел. А сердце было радо, после грусти, силы взгляда
Нежит то, что счастьем надо. И сказала мне она:
«В тот последний раз без слова ты отпущен был. Сурово
Это было. Точно злого зная принял в поле цвет.
И нарцисс засох на камне. Грусть твоя была видна мне.
Но стыдливость суждена мне. В том девический завет.
Пред мужчиною сиренью, это — наше назначенье.
Но молчать про огорченье — быть с бедою вдвое злой.
На лице была улыбка. Но, как горькая ошибка,
В сердце скорбь дрожала зыбко. Я послала за тобой.
Мало знали мы друг друга. Больше не было досуга.
Но клянусь я, что супруга я твоя во днях.
Клятва — с силой неумолимой. Если ж буду вероломной,
Да сравнюсь с землею темной, и не буду в небесах.
В путь. Узнай кхатавов в беге. Есть в победе много неги.
Соверши свой набег. Битва кличет, — так в нее.
Без тебя я в мленьи сонном. Сердце мне свое, пронзенным,
Ты отдай неразделенным. А возьми взамен мое».
«Этой радостью вечанный, незаслуженной, неожиданной,
Буду, духом необманный», — я промолвил, — «весь я твой.
Темен был, но светит чудо. Этот божий свет — оттуда.
Буду я твоим, куда-ль лик не будет скрыт землей».
И на книге клятв мы клялись. Оба сердцем обещались.
Так слова ее слагались, в подтверждение любви:
«Да пошлет мне бог кончину, если я к тебе остыну.
Все тебе как властелину. Ты меня своей зови».
Я стоял пред ней мгновенья. Нежны были все реченья.
Мы в минуте развлеченья ели сладкие плоды.
И потом, проливши слезы, я ушел от нежной розы.
Унося лилейно грезы, отошел я от звезды.
В том, конечно, было жало, — уходить мне от кристалла.
Мне рубина было мало и прозрачного стекла.
Вновь зажглась мне радость в мире. Видел солнце я в эфире.
Мир разъят, и пропасть шире. Все же тверд я, как скала.
На коне я был с зарею. К битве рог звучал с трубою.

Сколько войск пошло со мною, как рассказ о том вести?
В Кхатаэти, лев суровый, чуя пир войны багровый,
Я пошел стезею новой, по дорогам без пути.
За индийские пределы выйдя, шел я месяц целый.
Вестник был ко мне, несмелый. Хан Рамаз, через него,
Говорил: «Хоть вы козлами появляетесь пред нами,
Будь мы даже и волками, перед вами все мертво».
Для снисканья примиренья он принес мне подношенья.
Дар достойный изумленья. «Говорит тебе Рамаз:
Мы тебе простерли шею. Ты же силою своею
Не губи. Смотри: робею. Все бери. Детей и нас.
Пред тобой мы согрешили. Не являйся в полной силе.
Если мы неправы были, по стране не мчись грозой.
Да не ведаем отмщенья. Замки все и укрепления.
Отдаем мы без боренья. Лишь отряд возьми с собой».
Я совет держал с вождями, как поступим в этом сами.
Говорили: «Ты — с врагами. Ты неопытен и юн.
Вид их кроткий — лик заемный. Этот люд и злой, и темный.
Дух всегда в них вероломный. Каждый между ними лгун.
Так советуем мы сами: лишь с отборными бойцами
В путь пойдем, — и пусть за нами близко следуют войска.
Если явят лик покорный, — благо. Если ж — дух упорный,
Да прольется гнев повторный на неверных, как река».
Был доволен я советом. Укрепившись мыслью в этом,
Вот я вестника с ответом отсылаю: «Царь Рамаз,
Знаю я твое решение. Жизнь отрадней убиенья.
Дам войскам отдохновенье. Сам иду к тебе сейчас».
В мысли, в действии проворных триста— взяв бойцов отборных,
Смело я пошел до спорных и неверных этих встреч.
А войскам сказал: «Следите, где пойду, и как по нити
Там же, вслед за мной, идите. Кликну, — вам поможет меч».
День прошел, и два дня снова. Хан послал еще другого
И сказал такое слово, не один прислав покров:
«Сильный ты, скажу без лести. Гордый ты, и стоишь чести.
В час, когда мы будем вместе, много дам тебе даров.
Правду я тебе вещаю. Сам навстречу поспешаю».
Я в ответ промолвил: «Знаю, щедрый хан твой властелин.
Возвести, что волей бога до него ведет дорога.
Будет радости нам много. Будем мы — отец и сын».

Дальше путь. Вблизи глухого леса, отдыха и крова
Я искал. Послы мне снова. Привели лихих коней.
Мне почет и мне участие. Ты, мол, солнце средь ненастья.
«Быть с тобою, это — счастье для властительных царей».
От владыки извещение: «Завтра нам соединенье.
Утром встречу, без сомненья. Из твердынь спешу своих».
Я велел разбить палатки. Взоры светлы, речи сладки.
Не играть мне с ними в прятки. Принял их, как стремянных.
И возникла тут услуга. Наградить мне нужно друга.
Из злокозненного круга вывел он меня, любя.
Некий вестник возвратился, и со мной договорился.
«Я должник. И грех случился. Не покину я тебя.
Не боясь заботы бремя, твой отец в былое время
Приютил меня. То семя не на пыльный пало путь.
На тебя куются ковы. Против розы нож суровый.
В той измене вскрой основы. Все узнай, и твердым будь.
Ты не верь тем вероломным. Знай, в изменничестве темном,
В месте некоем укромном, сотня тысяч ждет солдат.
И в другом еще засада. Тридцать тысяч биться радо.
Предпринять немедля надо мер разумных целый ряд.
Выйдет царь тебе навстречу, в сердце сам готовя сечу.
Ложь избравши, как предтечу, войско выстроит тайком.
И пока ты будешь лаской окружен, как хитрой сказкой,
Вдруг нагрянет бой развязкой, ты один, их тьма кругом».
За совет благодарю я. Говорю: «Коль не умру я,
Уж достойно награжу я. Счастлив будешь ты вовек.
Лишь скажи свои хотенья. Коль подобное раченье
Будет брошено в забвенье, я пропащий человек».
Никому о том ни звука. Тайна будет мне порука.
Коль стрела ушла из лука, свист ее услышим мы.
Но своим войскам веленье я послал из отдаленья:
«Все сюда без промедленья, через горы и холмы».
Утром вестников с ответом я послал. И в деле этом
Счел, что с ласковым приветом пусть они идут к врагу.
«Приходи. Иду». Дорога вновь полдня. Здесь все от бога.
Если смерть приходит строго, где укрыться я могу?
На утес взошел высокий. На равнине на далекой
Пыль клубится поволокой. «Там приходит царь Рамаз».
Мыслю: «Сеть он мне раскинул. Но копья не опрокинул.

Острый меч мой не содвинул. Приходи же в добрый час».
Говорю бойцам: «Как стены станем против мы измены.
О скалу лишь в брызгах пены вал ударит в миге встреч,
Кто за власть идет, вставая, дух того парит, взлетая.
На кхатавов нападая, не напрасно вынем меч».
Гордо, резкими словами, я велел, пройдя рядами,
Чтоб оделись все бронями, в сталь замкнув скопление сил.
Блещут шлемы, светят латы. В бой стремимся мы крылатый.
В этот день, борьбой богатый, меч мой врага рубил.
Вот из дали из туманной видит враг наш строй наш бранный.
Вид нежданный, нежеланный. Шлет к нам вестника Рамаз.
«Для чего же вы некстати в боевой явились рати?
Нет в измене благодати. Огорчаете вы нас».
Был ответ: «Свой час расчисли. Знаю все твои я мысли.
Ковы в воздухе повисли. Порвалась в сплетеньях нить.
Приходи с своей толпою. Буду меряться с тобою.
Поднят меч, готовый к бою, чтоб тебя в бою убить».
Обменялись словами. Тотчас дым пошел клубами.
С двух сторон враги рядами из засады в бой пошли.
Дым огней, всходивший мраком, для бойцов был скрытых знаком.
В токе ринулись двояком, но вредить мне не смогли.
Взяв копье, своей рукою шлем скрепив над головою,
Рвался я, горячий, к бою, быстрой смелостью гоним,
Мною длинный строй построен. Ход стремительный удвоен.
Вид врагов моих спокоен, многочислен, недвижим.
«Он безумен», — говорили. Там, где враг был в полной силе,
Встал я, словно в плесках крылий. Двинул в воина копье, —
Вмиг коня я опрокинул, их обоих в смерть содвинул.
Треск копья. И меч я вынул, восхваляя лезвие.
Вижу, им довольно пряток. И на стаю куропадок
Сокол пал. В кипеньи схваток, на бойца швырнул бойца.
Там, где меч мой светом машет, стрекозою воин пляшет.
Смертный плуг мне ниву пашет. Прорван строй их в два конца.
Вкруг меня, шумя, вскипая, плещет вражеская стая.
Я ликую, ударяя. Кровь как брызги из ручья.
Тот, над кем клинок мой свистнет, и кого к седлу притиснет,
Как мешок с коня повиснет. Все бегут, где гляну я.
В час зари, пред ночью черной, с вышины горы узорной,
Возгласил к врагам дозорный: «Бой кончайте. Грозный час.

Гнев небесный — полновластный. Прах вздымается ужасный.
Силы ток идет запасный. До конца погубят нас». Те, кого я за собою вел, призыв услышав к бою.
Шли поспешною стопою, устремляясь до борьбы.
Что утесы им и горы! Сломают всякие запоры.
Бьют литавры, кличут хоры, слышен громкий глас трубы.
В бегство враг пустился смятый. Были овцы их солдаты.
Мы в погоне. Блещут латы. Наше поле. Клик и стон.
Царь Рамаз с коня был скинут, из седла мной опрокинут.
Меч и меч, скрестясь, содвинут. Всех забрали мы в полон.
Вот хватают полоненных, слепотой как бы сраженных,
Рушат наземь побежденных. Страх всемогущ, пасть должны.
А моим бойцам — награды. Ждали битвы, битве рады.
Все враги — их смутны взгляды — стонут, точно чем больны.
Миг победы не обманен. Отдых светел и желанен.
Лезвию я в руку ранен. Что мне этот царапок.
За дружиною дружина, рада видеть властелина.
Сердце их со мной едино. Мною дух бойцов высок.
В сердце смелых восхваленья — за труды вознаграждение.
Те мне шлют благословенья, этим хочется обнять.
Благородные, которым был как сын я, дружным хором
Хвалят, видно было взорам, как мечом кладу печать.
Разослал солдат я всюду. Принесли добычи груды.
Этой битвой горд пребуду. Кровью выкрасил простор.
Кровью тех, кто смерть мне тщился дать. У врат градских не бился.
Каждый город мне открылся, отодвинув свой запор.
Говорил царю Рамазу: «То, что скрыто, видно глазу.
Так оправдывайся сразу, если ты попался в плен.
Открывай свой твердыни. Все сочти их в длани ныне.
А не то, в твоей кручине, счет сочту твоих измен».
Отвечал Рамаз: «Моею волей больше не владею.
Чрез тебя лишь власть имею. Пусть придет ко мне скорей
Из моих любой властитель. В замках каждый охранитель
Будет знать, кто победитель. Замки все в руке твоей».
Словно ветер по долине, власть моя стремилась ныне.
Были отданы твердыни, все, их сколько там ни есть.
Вражьих всех вождей собрал я, и раскаяться им дал я
А сокровищ сколько взял я? Столько, столько, что не счесть.
Так, мои твердыни эти. Я прошел по Кхатаэти.

В изобилии, в самоцвете, открывалась мне казна.
Тем, что мне ключи вручили, я сказал: «Без страха, в силе,
Будьте. Чаша изобилии мной не будет сожжена».
Чтоб отметить клад от клада, самоцветы, радость взгляда,
Много времени бы надо, много взял сокровищ я.
Я нашел покров чудесный, был он видом как небесный,
В нем состав волшебнo-тесный был как твердая струя.
Ни с ковром он, ни с парчою был несходен, но волною,
И цветною, и стальною, полюбился очень мне.
Взял я эту ткань оттуда. Всяк, кто глянет, молвит: «Чудо».
Цвет ценнее изумруда, закаленного в огне.
Это в дар для той лучистой, кто мне светит в жизни мгlistой,
Как светильник золотистый. Из отборного, что есть,
Для царя в родные страны потянулись караваны.
И как дух цветов медвяный — чрез дары благая весть.

11. Послание Таризеля к царю индийскому, когда он победил кхатавов

Написал царю посланье: «Царь, судьба нам шлет даянья,
А кхатавам наказание за измену и беду.
Знай из вести замедленной — самый царь их полоненный.
Я, добычей нагруженный, много пленных приведу».
Жив закон, в порядке сила. Так добычи много было,
Что верблюдов не хватило. На быков я грузы клал.
Добыл чести я и славы. Были сломлены кхатавы.
Через бранные забавы получил, чего желал.
Царь кхатавов оробелый был в индийские пределы
Приведен рукою смелой. И отец приемный мой
Возносил мне восхваленья. Тем хвалам, что вне сравненья
Да не будет повторенья. И как врач он был со мной.
Все ли сказывать я стану? Он осматривал мне рану.
А потом повел к майдану. Площадь вся была в шатрах.
Кто хотел, вступал в беседу. Зван был к царскому обеду.
Говорил он про победу. Свет горел в его глазах.
Эту ночь мы без печали веселились, пировали.
Утром в город путь держали, удаляясь от шатров.
Царь сказал: «Пусть радость славы явят пленные кхатавы.
Да придет их строй лукавый пред лицо моих бойцов».

Тут для первого я раза, в исполнение наказа,
Привожу царя Рамаза. Ласков был ему прием.
Царь встречает как родного. Об измене ни полслова.
Если храбрость не сурова, доблесть высшая есть в том.
Час не малый, час пристойный, с ним он был в беседе стройной.
Если ток течет спокойный, он не роет берега.
А с зарею, в миг свиданья, слово молвил состраданья: —
«Наложу ли наказание на сраженного врага?»
Я дерзнул сказать: «От бога милосердья к грешным много.
Так и ты суди не строго пораженного его».
Царь сказал ему: «Прощенье — для проступка заблужденье.
Но уж только повторенья чтобы не было того».
Взяв стократно сто драханы, и кхатаури, и дани
Как парча, и шелк, и ткани, где главенствует атлас,
Он ему, с толпой придворных, дал как дар одежд узорных.
И без всяких слов укорных был отпущен царь Рамаз.
От склоненного кхатава — благодарность, честь и слава.
«Богом я клянусь, лукаво поступил я пред тобой.
Но убей меня, коль вдвое совершу еще такое».
С этим отбыл он в покое, взявши всех своих с собой.
Минул час седой рассвета. От царя письмо привета.
Так гласило слово это: «Я с тобой был разлучен.
Уж три месяца томленья. На охоте развлеченья Я не знал.
На приглашение приходи, хоть утомлен».
Я наряд надел не темный, и в чертог пришел приемный.
Встречен был толпой огромной, целой стаей соколов.
Царь как солнце. В блеске взгляда — сердца видится улада.
Вид меня — ему отрада. Я служить ему готов.
Он шепнул царице тайно, — я узнал о том случайно, —
Что ему необычайно мил вернувшись я с войны.
«Таризель — одно сиянье. В нем и темному сверканье, —
Молвит, — мы его желанья тотчас выполнить должны».
Вот решение какое принял я: он побыл в бое.
Пусть же тот, чей стан — алоэ, кто как солнце скрыл в лице,
Знает также путь к отрадам, и с тобой увидит рядом
Деву-розу с царским взглядом. Встретьте обе нас в дворце.
Целым выводком орлиным, по холмам и по стремнинам,
По равнине и долинам, чтоб зверей в бегу настичь,
Мчались весело мы с псами, забавлялись соколами,

Не играли мы мячами, дважды подняли мы дичь.
Чтоб мои увидеть чары, шли толпами на базары.
Те, кто юны, те, кто стары, на меня смотрели с крыш.
Я, в нарядах с бахромою, розой бледной был с росой,
Млели все, пьяняся мною, — то не ложь, а правда лишь.
Я надел покров богатый, у кхатавов с бою взятый.
Каждый, блеском чар объятый, от меня с ума сходил.
Вот мой царь с коня спустился. Мы в дворце. Там лик светился
Солнцесветлой. Я смутился. Задрожал в упадке сил.
Облечен был стан прекрасный пышной тканью желто-красной,
Строй был дев за ней согласный, — словно воды в берега.
Влились, ток мягча разлива. Рдели розы щек красиво.
Заревого свет отлива, и коралл, и жемчуга.
Я стоял там. Стройно тело. Но одна рука висела
На повязке. Поглядела тут царица на меня.
С трона быстро восставала, и как сына целовала.
«От тебя твой враг, — сказала, — побежит как от огня».
Я царями был уважен, рядом с ними был посажен.
Против — солнце. Лик тот важен и прекрасен был в огне.
Мы почти сидели рядом, мы тайком менялись взглядом.
Весь я отдан был уладам. Жизнь без них отравя мне.
Начат пир. Все время наше. В бирюзовой пышной чаше
Свет вина. И в цвете краше по лазурному рубин.
Ликованье вне сравненья. От царя — постановление:
«Не уйдет без опьяненья с пированья ни один».
Был я радостен в избытке. В том причина не напитки.
Золотые в сердце слитки и расплавленная медь.
В сердце я смирял пожары, молний пламенных удары.
Сколь пленительны те чары — на любимую глядеть.
Песни звонкие звучали. Вдруг певцы все замолчали.
Царь велел. Ему внимали. Молвил: «Сын мой Таризель.
Мы ликуем в упоеньи. Враг наш в тяжком пораженьи.
Ты как светоч в вознесеньи. Твой удар доходит в цель.
Ты склонять не должен вежды. На тебя всех нас надежды.
Нужно б дать тебе одежды, но нельзя снимать твоих.
Твой наряд — наряд прекрасный. И зарей горишь ты ясной.
Славой светишь полновластной. Сто богатств — имеешь их».
Вновь, веселый, он садится. Пьют вино и песня длится.
Арфы нежный звон струится. Веселится пенье лир.

В мгле закатной огневицы отошли к себе царицы.
К краю сна зовут ресницы. Тут уж больше пир не пир.
Ночь идет, ведет туманы. Встали мы. Долой стаканы.
Мы и так довольно пьяны. Вот я в комнате своей.
Над собой утратил власть я. Пленник нежного участия.
Вспомиаю, полон счастья, как смотрела. В мысли — с ней.
Раб пришел. Восторг мне внове. Ждет там женщина в покрове.
Это вестница любви. Я вскочил. Горит мой взгляд.
Я бегу скорей навстречу. Лаской вестницу привечу.
Знаю счастья предтечу, то пришла ко мне Асмат.
Весь я в ласке необманной. Ведь приходит от желанной.
От Нэстан, лучом венчанной. Удержав ее поклон,
С поцелуем обнимаю, на постель с собой сажаю,
«Ты как тополь, — возглашаю. — Он красивым сотворен.
Говори о ней. Внемлю я. Только ей горю, тоскую».
Отвечает: «Все скажу я. Но не только счастье есть.
Вы друг друга повстречали. В этом отдых от печали.
Взоры, встретясь, свет качали. От нее несу я весть».

12. Послание Нэстан-Дарэджан к возлюбленному ее

Мне дала она посланье. Явзглянул. Там луч сиянья.
Так гласило написанье: «Поспешая на коне,
Самоцвет ты был блестящий. После боя, как из чащи,
Глянул ты, цветок горящий. Вижу, плакать нужно мне.
Если бог дает мне слово, — чтоб хвалить тебя. И снова
Я без света дорогого умирать должна в борьбе.
Сад для льва, цветник, где розы и родник, струящий слезы,
Сад, где солнечные грезы, все мое даю тебе.
Ты скорбел, но не напрасно. К нам судьба не безучастна.
Милый, все в тебе прекрасно. Тем, кто смотрит на тебя,
Всяк завидует глядящий. Ткань твою, кушак блестящий,
Мне, в любовной мгле грустящей, подари, прошу, любя.
Дай твое мне украшенье. Будет встреча, в то мгновенье
Ощутишь ты наслаждение, что украшена я им.
Нам обоим будет счастье. И надень мое запястье.
Чуя нежное участие, в ночь не будешь ты томим».
Таризель остановился. Словно в зверя превратился.

Плачет. Пыткой дум упился. Сняв запястье, он до губ
Приложил его, бесценный талисман в тоске забвенной.
И, скорбя о несравненной, рухнул он без чувств, как труп.
Недвижим и весь застылый, как в преддверии могилы,
Так лежал он. Вид унылый. Горький, бил он в грудь себя.
Грудь покрылась синяками. И Асмат себе ногтями
Ранит щеки. И струями на него кропит, скорбя.
На недвижимого взирая, Автандил грустил, вздыхая.
Слезы, камни прожигая, у Асмат струятся вновь.
Но пожар смягчен водою. Таризель вздохнул, с тоскою:
«Мучим я судьбою злою, испивающею кровь».
Он глядел ошеломленным. Бледный, сел, с лицом смущенным.
Был он стеблем затененным. Роза стала как шафран.
Ничего не говорил им. Был безгласным и унылым.
Смертный час ему был милым, но ему он не был дан.
Вот он молвит Автандилу: «Слушай. Чуть имею силу,
Но о той, кем я в могилу ввержен, кончу я рассказ.
Для меня одна отрада: в скорби друга видеть надо, —
Есть мне этот свет для взгляда, и поддержка в горький час.
Встретил я в Асмат участие от сестры в путях несчастья.
Я надел тогда запястье, здесь, на руку на мою.
С головы покров тот странный снял, и в дар послал желанной,
Ткань с игрою осиянной, плотно-крепкую струю».

13. Ответное послание Таризеля к возлюбленной его

Я писал: «Заря Златая! Луч твой, в сердце упавая,
Поразил его, и, тая, смелый дух попался в плен.
Я безумен, я тоскую. И, зарю узнав златую,
Чем уважу я младую? Что я дам тебе взамен?
Помирал совсем я прежде, смертный сон склонялся в вежде.
Ты велела быть надежде. Я на верном берегу.
Не тону в морях несчастья. Ты являешь мне участие.
Я ношу твое запястье. Чем явить восторг могу?
Но в горении порыва вся душа моя правдива.
Ткань, которая красива, ты хотела получить.
Плащ еще такой же шлю я. И вздыхая, и тоскуя, —
Не покинь, приди, — молю я. В мире мне кого молить?»

Дева вышла. Лег и спал я. Так приятно задремал я.
Но внезапно задрожал я. Вижу милую во сне.
Я проснулся. Где виденье? Отошло в одно мгновенье.
Жизнь мне бремя и мученье. Милый звук не слышен мне.
Тьма и время день творили. В этот час, в дремотной силе.
Я разбужен. Пригласили во дворец — как бы в семью.
Прихожу. В их лицах, мнится, что-то словом озарится.
Чуть вошел, велят садиться. Сел пред ними на скамью.
Говорят: «Наш век преклонный. Возраст наш — изнеможенный.
Нет уж больше окрыленной легкой юности, — ушла.
Не был сын судьбой дарован. Все ж удел наш облюбован.
Дочь сияет. Дух не скован, и не видим здесь мы зла.
Нужен муж царевне стройной. Где найдется он, достойный,
Чтобы мысль была спокойной, чтобы трон одеть в лучи, —
Чтоб в себя он принял сходство, лик наш, полный благородства,
Чтобы враг, ища господства, не точил на нас мечи?»
Молвил я: «У вас нет сына, и, конечно, в том кручина.
Но опора наша львина. Светит ярким солнцем дочь.
Зять, кого бы вы не взяли, будет править без печали.
Что скажу? Вы все сказали. Видно, как беде помочь».
Мы менялись советом, что пристойней в деле этом.
Стало тьмой, что было светом. Я молчал, томясь тоской.
Царь сказал: «Хваразмша силен. Хваразмийский край обилен.
Сын Хваразмши юн, умилен. Есть ли где еще такой?».
Все вперед они решили. Приговор был в полной силе.
Речи сдержанны их были. Чем бы мог я помешать?
Возражать им не дерзал я. Как земля, как пепел стал я.
В сердце трепетном дрожал я. Трудно было мне дышать.
Задержу ли ход я тучи? Я сорвался точно с кручи.
«Царь Хваразмша — царь могучий. Зять прекрасный — сын его».
Так царица говорила. Согласиться нужно было.
Час судьба постановила низверженья моего.
Весть Хваразмше посылаем: «Нет царевича над краем.
Мужа дочери желаем, чтоб имела с ним детей.
Если к ней приплешь ты сына, примем здесь как властелина.
Нежеланна ей чужбина. Пусть же он придет скорей».
Вестник прибыл, с ним и дани, драгоценнейшие ткани.
Весь исполнен обаяний, царь Хваразмша шлет слова:
«Бог послал благословенье, наше выполнил хотенье.

Ваше чадо — упоенье. Да пребудет век жива».
К жениху опять послали. «Будь без горя и печали, —
Через вестника сказали. — Приходи сюда скорей».
В мяч играл я, утомился, у себя уединился.
Дух печалью тяготился в скрытной горести своей.
В сердце скорбь горела знойно. Точно нож там беспокойно
Трепетал. Но гордо, стройно, принял весть я от Аснат.
«Та, чей стройный стан — алоэ, шлет веление такое:
Поспеш, мы будем двое. Твой да здесь увижу взгляд».
На коне приехал к саду. За его прошел ограду:
В сердце чувствую отраду. Перед башенкой, смотрю,
Ждет Аснат. И ждет, и плачет. Вид такой не озадачит.
Знаю я, что это значит. Ничего не говорю.
Вижу лик ее суровый. Полон я печали новой.
На устах застыло слово, — молча, плачет лишь, бледна.
Раньше мне была улыбка. Ныне грусть трепещет зыбко.
Это горькая ошибка, мне не лечит боль она.
Мысль далеко — во вчерашней, в светлой радости всегдашней.
Вот иду я с нею башней. И завеса поднялась.
Я вошел. Луна сияла. В сердце вдруг утихло жало.
Скорбь ушла. Но было мало в сердце счастья в этот час.
Грусть и здесь владела кровом. Свет был светом, но суровым.
Лик златой был скрыт покровом, что прекрасной я послал.
Несравненное виденье, в том зеленом облаченье,
Вся в слезах, в изнеможенье, полный росами фиал.
Скорбь исчерпав полной мерой, — разъяренною пантерой,
Что скалой крадется серой, вот не солнце уж она.
Не луна, и не алоэ. Сел вдали я. В сердце — злое.
Сердце вдруг копьё сквозное. Села. Хмурит взор. Грозна.
Говорит: «Дивлюсь, неверный, клятв ломатель беспримерный,
Для чего, недостоверный, ты пришел, обман тая.
Вижу, слабым был всегда ты. От небес дождешься платы.
И ответишь им тогда ты». Я сказал: «Что знаю я?»
Молвил: «То, о чем не знаю, без ответа оставляю.
В чем теперь я прегрешаю? Ты ответь мне», говорю.
Говорит в печали темной: «Что сказать мне, вероломный?
Я в обиде неумной, я обманутой горю.
Что ж Хваразмша — нареченный? Ты советчик был смиренный.
С клятвою твоей забвенной, там давал советы кто?

Растоптав бывшее рвенье, весь ты в зыби измененья.
О, когда б твои внушенья обратила я в ничто.
Вспомни, вспомни, как, вздыхая, жил ты, слезы проливая,
Как твоя недужность злая не нашла себе врачей.
О, изменчивость мужчины. Ты отрекся, ты, единый.
Отрекись и я. Кручины будут чьи сильнее и злей?
Знай, хоть в этом ты лукавил, ты плохой совет составил:
Кто бы Индией ни правил, буду править также я.
Здесь не быть тебе, — пред богом, — ты пойдешь по всем дорогам.
Иль убью я, в гневе строгом». Витязь воскликнул: «Жизнь моя!»
Он сказал: «Услышав это от нее, как звук привета,
Принял я упрек, и света власть во мне струилась вновь.
Ныне нет в глазах сиянья. Как сношу существованье?
Мир! Зачем мои терзанья? Пьешь зачем мою ты кровь?»
В неге, с болью перевитой, на подушке на забытой,
Вижу там коран раскрытый. Богу слава, в боге свет.
«Солнце! — я сказал. — Сжигая, все ж даешь мне жить, золотая.
Я, тебе хвалы слагая, дать дерзну теперь ответ.
Если ложь тебе скажу я, если хитрости сплету я,
Пусть же небо, негодуя, вмиг сожжет меня в огне.
Ничего не делал злого». Отвечает: «Молви слово». —
И ко мне добрее снова. Головой кивнула мне.
Я сказал: «Коль, вероломный, я во лжи пребуду темной,
Молний пусть огонь изломный существо пронзит мое.
В чьем лице я солнце встречу? Лаской я кого привечу?
Буду ль жить, и как отвечу, если ты вонзишь копье?»
Ко двору меня позвали. Там мой дух застыл в опале.
Что совет? Все раньше знали и решили мать с отцом.
В чем я мог явить боренье? Множить лишь свои мученья.
Я сказал себе: «Терпенье. Твердым будь в себе самом». —
Что мой дух свершить посмеет, если царь не разумеет,
Что над Индией не смеет стать никто другой, — лишь я?
С правом я лишь притязаю — быть царем родному краю.
Кто придет сюда, — не знаю. В этом воля не моя.
Я сказал: «То дело злое. Что-нибудь найду другое.
Не тревожся, будь в покое». В сердце был я словно зверь.
Я хотел бежать равниной, устремить полет орлиный.
«Разлучусь ли я с единой? Вдруг ли взять тебя теперь?»
Я для сердца продал душу. Башня — рынок. Все разрушу.

Как волна бежит на сушу, я пришел, чтоб быть в огне.
Дождь холодный стал теплее, роза красная нежнее.
Жемчуг ждал, в коралле млея. «Что ж в неправом быть и мне?»
Так, вздохнув, она сказала. Гнев устал, исчезло жало.
«Да, в тебе измены мало. Бога чтишь и помнишь ты.
Обо мне царя проси ты. Будем мы друг с другом слиты.
Трон займем мы знаменитый, в крае, полном красоты».
Разъяренность где пантеры? Вновь нежна она без меры.
И кругом не сумрак серый, светит солнце и луна.
Вот меня сажает рядом. И, лаская, светлым взглядом
Предает меня уладам. Стих пожар, душа нежна.
Возвещает: «Осторожный, не пойдя тропой тревожной,
Лучший путь найдешь возможный, согласуя мысль с судьбой.
Жениху прийти мешая, и царя тем раздражая,
Что свершишь ты? Ссора злая растерзает край борьбой.
А придет жених, — нам мука, нам терзанья и разлука.
Вместо радостного звука, песня траура и зол.
Нам страданья в грозной силе, им же блески изобилии.
Не хочу, чтоб захватили персы власть и наш престол».
Я сказал: «Да не случится, волей бога да свершится,
Сватовство да отворотится. Если ж юноша придет,
Он узнает где могила, как моя отважна сила.
Сколько б с ним ни приходило, кончат в Индии свой счет».
Отвечала: «Для любви я живу. Пролитье крови
Не идет к моей основе. Так велит мой женский пол.
Быть зерном раздора больно. Жениха убей, — довольно.
Правосудно сделать вольно, чтоб и ствол сухой зацвел.
Лев мой, вождь необычайный, да не будет смерть бескрайной.
Жениха убей ты в тайной быстрой скрытности, один.
За дружиной же дружину, убивая как скотину,
Лишь умножишь ты кручину. Бремя крови — тяжесть льдин.
Как убьешь его, так путы разомкнутся. И царю ты
Скажешь: «С шеею согнутой для персидского ярма,
Быть так — я не разумею. Будет Индия — моею.
А коль мне разлучность с нею, — будет в граде бой и тьма».
Что моей любви ты хочешь, скрой. Ты тем успех упрочишь.
Счастье лишь на час отсрочишь. Будет царь молить вдвойне.
Я в твои предамся руки. Будем царствовать без муки.
Песнь одна в согласном звуке, я к тебе, и ты ко мне».

Был согласен с ней я в этом, и обрадован советом.
Меч пойдет мой за ответом к приходящему врагу.
Встал. Хочу уйти, немею. Просит сесть, помедлить с нею.
Я обнять ее не смею. Быть в отраде не могу.
Медлил я еще мгновенье. Ухожу в отъединенье.
В разум пало ослепленье. Предо мной идет Асмат.
Плачу горько, слезы жгучи. Скорби выросли как тучи,
И душой, в тоске тягучей, уходя, стремлюсь назад.
Раб сказал: «Жених приходит». Горе горьких тайно бродит.
То, к чему судьба приводит, если б знал он, был живой.
Царь позвал, был светел взглядом. Мне велел садиться рядом.
Мыслил — час ведет к усладам, и кивнул мне головой.
Говорил мне: «День веселый. Как медовый сот тяжелый.
Поработали тут пчелы. Свадьбы час не за горой.
Раздадим-ка людям клады. Веселит подарок взгляды.
Где дары, сердца там рады. Скупость — глупость, лик тупой.
За сокровищами всюду я послал, и чудо к чуду,
Принесли сокровищ груды. Да не медлил и жених.
Хваразмийцы прибывают, наши их толпой встречают,
И поля уж не вмещают столько полчищ, — сонмы их.
Царь сказал: «Шатры заранее приготовь ты на майдане.
Солнце спит в ночном тумане. И жених пусть отдохнет.
В этом лишь твой труд единый. Без тебя придут дружины.
Здесь сойдутся властелины. Все наступит в свой черед»,
Вот шатры, уют для часа, там из красного атласа,
Юный весел как прикраса, как картина, где весна.
Есть ли грусть в мечтах любовных? Много ходит там сановных.
И в рядах солдаты ровных образуют племена.
Кончив труд свой запоздалый, сонм шатров построив алый,
Я пришел домой усталый, чтоб в постели быть своей.
Спешной раб идет походкой, от Асмат письмо от кроткой.
«Та, чей стан — прямой и четкий, говорит: приди скорей».
Мой ответ на то посланье — в том же миге послушанье.
В лике девы след рыданья. Вспоминаю: «Почему?»
Отвечает: «Не умею быть защитой твоею.
Непрестанно перед нею. Есть смущенье тут уму».
Мы вошли в пределы крова. На подушке, грозно снова,
Там сидит она, сурово смотрит, клонит гибкий стан.
Говорит: «Чего зришь? Битвы день — ты это знаешь?

Или снова покидаешь? Или вновь в тебе обман?»
Гнев во мне, негодование. Быстро я, храня молчанье,
Ухожу, и на прощанье, обернувшись, говорю:
«Ныне лик свой явит сила. Храбрость, что ль, во мне остыла,
Чтобы женщина учила, как сражать, что сотворю?»
Я замыслил убиенье. Отдал сотне повеленье:
«Приготовьтесь для сраженья». Был уж ночи поздний час.
Этой ночью схороненный, наш отряд поехал конный.
Через тихий город сонный. И никто не видел нас.
Был набег мой не напрасный. И вступил в шатер я красный.
Расскажу ли вид ужасный я свершенья моего?
С головой своей пробитой, там лежал жених убитый,
Мертвый, с кровью непролитой, хоть кричала кровь его.
Те мгновенья были кратки. Срезал я конец палатки.
И, ворвавшись, без оглядки, ноги спящего схватил.
Головой о столб. В могиле. Те, что двери сторожили,
Дивным воплем возгласили. Конь мой вскок, что было сил.
Целый строй летел за мною. Но покрыт я был бронею.
Меткой бью моей рукою тех, кто гонится во след.
Мчусь, как ветер по равнине. Вот уж я в моей твердыне.
Приходи кто хочет ныне. Я не ранен. Входа нет.
Я послал к моим дружинам весть: «Сижу в гнезде орлином.
Будем в действии едином. Приходите все сюда».
Те, что гнались за мною, ночью шли густой толпою.
Но, признав меня, без бою, отошли. Страшит беда.
В час, как мрак в рассвет сменился, я в наряд мой облачился,
На совет послов явился. Весть царя ко мне пришла.
Так гласило это слово: «Знает бог, что дорогого
Сына я в тебе родного видел. Ныне ж — бремя зла.
Для чего на дом мой чинный пролил крови ток невинной?
Если гнев не беспричинный, жаждал дочери моей, —
Для чего ж скрываться было? Ныне жизнь моя постыла.
Мне б твоя служила сила до конца преклонных дней».
Я послал царю посланье: «Царь! Из бронзы изваянье
Мягче, чем мое дерзанье. В смертных я огнях храним.
Пусть события плачевны. Будь судья, но будь не гневный.
Не ищу руки царицы. Солнцем я клянусь твоим.
Сколько в Индии есть тронов, знаешь ты. И власть законов,
Как вещанье громких звонов, говорит: «Наследник — я.

Край и край, где связь соседства, — знаю это с малолетства,
Чрез тебя мое наследство. Это собственность моя.
Я к твоей взываю чести. Говорю тебе без лести:
Сына нет, есть дочь. Невесте будет мужем и царем
Царь Хваразмша, — мне в замену что ж осталось? Эту стену,
Я, владыка правый, в пену обращаю моим мечом.
Камни брошу я на камни. Дочь твоя? Дане нужна мне.
А нужна в удел страна мне. Вторю, Индия — моя.
Каждый, кто мое отнимет, он немедля кару примет.
Меч с земли его поднимет. Умертви. Но прав здесь я».

14. Сказ о том, как Таризель услышал об исчезновении Нэстан-Дарэджан

Весть отправил я с послами. Ум мой полон был углями,
Сумасшедшими огнями неизвестности томим.
Со стены смотрю в равнину. То узнал, что вдруг я стыну.
Но, узнав мою кручину, духом был несокрушим.
Там идут два пешехода. Я встречаю их у входа.
С ними шествует невзгода. Раб и скорбная Асмат.
Разметалась волосами. Кровь лицом течет струями.
Не приветными огнями, не улыбкой полон взгляд.
Вижу издали — с бедою. Дрогнул я и взят тоскою.
Восклицаю: «Что с тобою? Что несет огнистый час?»
Плачет горестным рыданьем. Чуть лепечет восклицаньем.
«Небо дышит наказаньем. Ополчился бог на нас».
Подхожу. Вопрос мой снова: «Что случилось с нами злого?
Если правда и сурова, говори». Рыданья вновь.
Скажет, вновь молчит, вздыхая. Бьется мука огневая.
Грудь моча и обагрят, со щеки струится кровь.
Наконец она сказала: «Для чего бы я скрывала?
Но тебе услады мало будет в повести моей.
Так имей же состраданье. И, узнав мое сказанье,
Прекрати мое страданье. Перед господом убей.
Как свершилось убиенье жениха, в одно мгновенье
Поднялось везде смятенье. Царь вскочил и оробел.
Чует, весть подходит злая. Кличет он тебя, взывая.
Дома нет тебя. Вздыхая, как о том он пожалел.
Тут ему промолвил кто-то: «Он проехал за ворота».

И умножилась забота. Царь сказал: «Все видно мне.
Дочь мою любил он, знаю. Пролил кровь, — несчастье краю.
Слишком четко понимаю. Было сердце их в огне.
Так клянусь же головою. Ту, кого зову сестрою,
Я, убив, землей покрою. Был о боге мой приказ.
Как же дочь она взрастила? В сети дьявола вместила.
Чем любовь их так прельстила? Смерть пред богом ей сейчас».
Царь чтоб клялся головою? Это редкость. И грозою
Он не медлит над виною. Клятву молвил, — вот удар.
Божий враг ту клятву слышит. Он к Давар той вестью дышит.
Даже в небе все расслышит эта Каджи властью чар.
«Брат мой клялся головою, что не буду я живою.
Эта весть идет толпою». Говорит она, стеля:
«Эта гневность беспричинна. Знает бог, что я невинна.
Пусть же знают, кем пустынна я, и кто убил меня».
Госпожа моя такая все была, как, убегая,
Видел ты, заря золотая. Ткань волшебная к ней шла.
Тут Давар явила жало. Слов таких я не слыхала.
А, распутная! Немало ты, убийца, встретишь зла.
Ах, развратная ты сила! Жениха зачем убила?
Для чего ты погубила вместе с ним и кровь мою?
Не погибну я напрасно. Будешь мучиться ужасно.
И его, что любишь страстно, от тебя я утаю».
Тотчас руку налагала, и за волосы таскала,
И побоям подвергала, в кровь изранила Нэстан.
Стонет та, не видя света, и вздыхает без ответа.
Вся как в кровь и синь одета. Не залечишь этих ран.
Вот Давар терзать устала. Казни все в ней было мало.
Вмиг рабов она призвала. Каджи кликнула она.
Те носилки приносили, наглы, дерзки в грубой силе,
Солнце в скрытность поместили, и золотая пленена.
Мимо окон тех, что в море смотрят, шествуют. В просторе
Скрылось солнце. Горе, горе! И промолвила Давар:
«Кто за то меня камнями не побьет? Сыта я днями».
Нож схватила. Кровь струями. Нанесла себе удар.
Не дивишься, что жива я? Что копьем не пронзена я?
Коль со мною весть такая, умоляю богом я,
Этой жизни сбросить бремя, остановится пусть время,
Растопчи же злое семя». Льется, льется слез струя.

Я сказал: «Сестра! Родная! В чем вина твоя? Какая?
Чем тебя я награждаю — долг отдать сумею свой?
Путь мой ныне — за златою. Я землею и водою
Все за ней пойду». Душою стал я каменной скалой.
Ужас в сердце пал огромный, с лихорадкою истомной.
Ум безумный стал и темный. Молвил я: «Не умирай.
Если в тишь уйдешь могилы, расточишь напрасно силы.
Лучше в путь пойдем за милой. Кто со мной? Я в дальний край».
Вот я в латах, на коне я. Вот со мною, не робея,
Стая верных, нет вернее. Их число — сто шестьдесят.
Воля — строю боевому. К побережью путь морскому.
Ждет корабль. Ему, как дому, я с отрядом смелых рад.
Волны бьются, волны в споре. С кораблем мы вышли в море.
Долго плавал я в просторе. Вел опрос я кораблей.
Ничего не услышал я. Вовсе разум потерял я.
Божий гнев такой снискал я, что забыт был в бездне дней.
Месяц к месяцу, двенадцать. Год прошел. И словно двадцать
В каждом месяце. Двенадцать! Не помог мне даже сон.
Сны ее мне не являли. Те, что мне в моей опале.
Были верны, погибали. Божья воля. Бог — закон.
Не идти же против бога. Я скитался слишком много.
Будет. Водная дорога заменилася землей.
Счет утратил я потерям. Сердцем стал я диким зверем.
В жизнь когда уж мы не верим, бог хранит от доли злой.
Лишь Асмаат была на свете. С ней делится мог в совете.
Два раба еще. И эти души были отдых мне.
Где Нэстан? Где радость взгляда? Вести нет. А знать мне надо.
Слезы — вся моя отрада. Горько плакать в тишине.

15. Сказ о том, как Тариэль встретил Нурадина Фридона на морском берегу

В ночь простился я с волнами. Берег был покрыт садами.
Зрелся некий град. Скалами ходы выдолблены там.
Вид людей мне был постылый. В сердце пламень с полной силой.
Лег я там, где мрак унылый ткань развесил по ствола.
Спал. И вновь напрасна пряжа. Пробудился. В сердце сажа.
Что узнал в скитаньях? Даже нет мне нити для путей.

Так томясь и так тоскуя, под деревьями лежу я.
Что же ныне предприму я? Слезы льются как ручей.
Крик я слышу ненароком. Вижу, витязь мчится скоком.
На прибрежьи недалеком, он скакал во весь опор.
Вид его был гневно-странен. Меч был сломан, он был ранен.
Смысл проклятий был туманен. Был угрозы полон взор.
Горячил он вороного. Мой теперь он. И сурово,
Словно ветер, шумел он снова. Выражал кипучий гнев.
С ним беседовать хочу я, и раба со словом шлю я:
«Стой! Кому ты, негодую, шлешь свои угрозы, лев?»
Он не слышит слово это. Не приносит раб ответа.
Сам, исполненный привета, на коне спешу к нему.
«Стой! Ответь! — кричу я смело. — В чем твое, скажи мне, дело?»
Что-то в нем ко мне пропело. Вижу, направляюсь я ему.
Бег сдержал он беспокойный. Глянул. «Боже! Тополь стройный
Здесь мне явлен в муке знойной». Говорит, склонясь к коню:
«Я врагов считал козлами. Оказались ныне львами.
С вероломными ножами. Не успел надеть броню».
«Час пришел отдохновенью, — я сказал. — Под этой тенью
Ход дадим мы рассужденью. Дальше — власть меча ясна.
Не отступим». За собою я веду его. Красною
Восхищаюсь молодою. Прелесть юного нежна.
Раб мой мастер был леченья, болям дал он облегченье.
Обвязал все пораненья и извлек головки стрел.
Только кончились заботы, и его спросил я: «Кто ты?
Кто сводил с тобою счеты?» О себе он восскорбел.
Молвил: «Ты кто, — я не знаю. Кто велел быть грустным Маю?
Лик твой словно клик: «Сгораю!» Ты ущербная луна.
Солнце цвет обезопасит, — холод розу не украсит.
Бог свечу зачем же гасит, коль она им зажжена?
Этот град — Мульгхазанзари. Не велик он в нежной чаре.
Но, когда в красивом даре все желанно, ценен он.
Я с тобой у самой цели: вы здесь стали на пределе.
Здесь царю на самом деле. Нурадин зовусь Фрид он.
Часть отцу, другую дяде отдал дед, и быть бы в ладе,
Это верный путь к отраде. Дяде остров дан морской.
Ранен я его сынами. Там охота. Между нами
Спор был в этом, длился днями. А за ссорой — этот бой.
Спорим мы или не спорим, в этом, мыслил, только вздорим.

Я охотился над морем, переплыв чрез зыбь валов.
Я не брал с собой отряда. Пять загонщиков лишь надо.
Мне охотиться — услада. Пять беру я соколов.
Силой быстрого порыва проплываю вглубь залива.
Малый мыс глядит красиво. Я не брал бойцов моих.
Что бы там я делал с ними? Остров полон был моими.
С зовом, с криками лихими, был я там отнюдь не тих.
В чем я видел развлеченье, усмотрели в том презренье.
Вижу цепь я окруженья. Нет дороги к кораблям.
И двоюродные братья, — чем так вызвал их проклятья? —
Чем в толпу их мог согнать я? — вижу, едут биться там.
Блеск мечей я вижу четко. Я к воде. Качнулась лодка.
Поплыла со мною ходко. Вражьи силы как прилив.
Много их, и враг в силе. Путь готовят мне к могиле.
Окружают, окружили, все в кольцо не заключив.
Но еще идут рядами. Тут не могут взять мечами, —
Там достать хотят стрелами. Не дерзнут лицом к лицу
Встать со мной, я смело бился. Я на меч мой положился.
Меч иззубренный сломился. Стрелы все пришли к концу.
Ослабел в неравном споре. На коне я прыгнул в море.
И поплыл в его просторе, изумленье возбудив.
Всех, что были там со мною, всех густой своей толпою
Умертвили. Я ж с волною плыл, примчал меня прилив.
Воле божьей — быть свершенной. Кровь моя неотомщенной
Не останется. Смущенный взор их встретит новый мир.
Будет утро их — мученье. Будет вечер их — смятенье.
Их тела я брошу в тленье. Кликну воронов на пир».
Мне тот юный полюбился. Сердцем я к нему склонился.
«Этот случай пусть случился, — я сказал. — Отмщенье ждет.
Знай, что я рука с рукою против них пойду с тобою.
Двое, вызовем их к бою. Покараем в свой черед.
Расскажу мои скитанья. В должный час повествованье
Встретит должное вниманье. Но не час еще теперь».
Молвил: «Все есть, что мне надо. Велика моя отрада,
Жизнь возьми — твоя награда. Буду твой до смерти, верь».
В град вошли, идя равниной. Был он встречен там дружиной.
Все исполнились кручиной. Ранил всяк себе лицо.
Праха, скорбя, они вздымали, и героя обнимали,
Меч избитый целовали, рукоятку и кольцо.

Я в них вызвал удивленье. Говорили восхваленья:
«Солнце, нам твое явление день безоблачный сулит».
В город мы вошли красивый. Всюду красок переливы.
Стройной радостью все живы. Всяк одет там в аксамит.

16. Сказ о том, как Таризель помог Фридону и как они восторжествовали над своими врагами

Залечил свои он раны. Стал здоровый и румяный.
Конь под ним играл. И, рьяный, надевал уж он броню.
Снарядили мы галеры. Строй бойцов, и строй не серый.
Все бесстрашные без меры, все подобные огню.
Видеть их, — молиться богу. Приготовились в дорогу.
Вижу вражью я берлогу. Там готовы дать отпор.
Вот ладьи передо мною. Пнул одну своей ногою.
И покрыл ее волною. Плачут, словно женский хор.
Вот к другой я обратился, за перед ладьи схватился.
Каждый в море очутился. Убивал я их мечом.
Все другие устрашились. Поскорее в пристань скрылись.
На меня смотря, дивились. Был восхвален я во всем.
Вот мы к берегу пристали. На конях враги нас ждали.
В бой. Нам в битве нет печали. В схватке люб был мне Фридон.
Лев в сраженьи, ток прибойный, солнце ликом, пламень знойный,
Он сражался, тополь стройный, весь красиво разъярен.
Два двоюродные брата — в нем им гибель без возврата.
Были целыми когда-то, — пальцы рук им обрубил.
Двое их, ведет двоих он. В бое быстр, и в схватке лих он.
Каждый вражий витязь, — стих он. Каждый наш, — он весел был.
Прочь бежали их дружины. Миг не тратя ни единый,
Мы за ними, бьем их в спины. Камнем ноги пополам.
Кожу в шкуру превратили. Смерть мне, сколько изобилии.
Там какие клады были. Все сокровища их — нам.
Мы сразили вражьи рати. Все, что было, было кстати.
Наложил Фридон печати на сокровища врагов.
Двух зачинщиков раздора взял, и кровь их пролил скоро.
Обо мне как песня хора: «Божий тополь, свет лесов».
Воротились в град Фридона. Ото всех нам честь поклона.
Вторят: «В вас нам оборона». Ликованье и почет.

Как бойца и властелина, и меня и Нурадина
Вознесли. «В вас сердце львино. Кровь врагов еще течет».
«Царь Фридон!» — кричат солдаты. Мне: «Ты царь царей богатый!»
Все покорностью объаты. Вышний им владыка я.
В мрачном духе пребывал я. Роз румяных не срывал я.
Еще сказ им не сказал я. Повесть трудная моя.

17. Сказ о том, как Фридон сообщает Таризлю вести о Нэстан-Дарэджан

По пространствам я зеленым раз охотился с Фридоном.
Мы цеплялись горным склоном. Мысом к морю шел тот срыв.
Мне сказал Фридон: «Охота — до крутого поворота.
Раз пришла. Я видел что-то. Вид который был красив.
Я спросил. Фридон ответил: «Помню, день был очень светел.
В море что-то я заметил. Утка ль там в морской волне.
Сокол что-то, вьется смелый. Я следил за точкой белой.
Шел мечтою в те пределы. Сам сидел я на коне.
Проезжаю так утесом. Сам дивуюсь я вопросом:
«Что так быстро под откосом по волне спешит морской?»
Я смотрел и я дивился. Смысл явления не открылся.
Я понять напрасно тщился. Прыти я не знал такой.
«Зверь иль птица? Что такое поле меряет морское!»
Паруса трепещут в зное. Рулевой ладью стремит.
Я смотрю. Там в паланкине — словно месяц на картине.
На девятом небе ныне быть бы должен этот вид.
Дева, светов всех светлее. Что же дальше? Жду, немея.
Два раба, смолы чернее, на песке уж с девой той.
Длинные волосы густые. С чем сравню красы такие?
Блески молний сны пустые перед этой красотой.
В сердце дрогнуло томленье. Полюбил я то явление,
Эту розу вне сравненья, что как будто сорвана. Мыслю:
«В скок пущу лихого моего я вороного.
Прежде чем достигнет слово, там я буду, где она».
С сердцем я своим не спорил. Вороного вмиг пришпорил.
В тростниках был шум. И вторил к валу вал. Простыл их след.
Все побережье озирая, вижу, гаснет там золотая,
Путь свой к дали продолжая. Я горю. И где мой свет?
Вот какой был сказ Фридона. В сердце, там, где все спалено,

Новый вспыхнул пламень стона. Вниз я бросился с коня.
С прахом скорби я сравнился. Кровью щек я обагрился.
Смерть мне! Свет мой здесь светился, и горел — не для меня!
В сердце друга удивленье. Странно это поведение.
Все ж в нем сильно сожаленье. Слезы капаят из глаз.
Блещут очи жемчугами. И, как сын отца, словами
Ласки — светит мне лучами, чтоб смягчить мне трудный час.
Воскликает он, вздыхая: «Что сказал я, огорчая
Так тебя? О, доля злая! В этом был безумен я».
«Брось! Беда в том небольшая, — я сказал, — Луна золотая,
Мой огонь. И, в нем сгорая, вот, скажу, в чем боль моя».
Все Фридону говорю я. Отвечает он, горя: «Стыд свой в разум не возьму я. Что такое я сказал?
Царь Индийский ты всесильный. Что ж ты путь избрал столь пыльный?
Трон тебе — дворец обильный, твой блестящий каждый зал».
Говорит: «Коль волей бога кипарис ты, пусть тревога
Ранит сердце, пусть в нем строго повернется лезвие, —
Сам о нас он порадеет, громы с неба он ответит,
В горе счастье возлелеет, отведет свое копье».
Мы пошли домой в печали. Во дворце мы восседали.
Я сказал: «Из дальней дали я пришел к тебе сюда.
Ты один моя подмога. Нет таких других у бога.
Не страшна с тобой дорога. Ты мне светишь как звезда.
Ты горишь как свет жемчужный. В час тебя я самый нужный
Повстречал. Мы стали дружны. Дай теперь мне свой совет.
Что теперь мне сделать надо, чтобы ей и мне отрада
Засветилась светом взгляда? Ждать во мне уж силы нет».
Он сказал: «К тебе участие выражать — мне только счастье.
Ты мне свет среди ненастья. Царь Индийский, ты велик.
Долей счастлив я такою. Не сменю ее с иною.
Вот, стою перед тобою, раб и вечный твой должник.
Этот город путь-дорога кораблям. Их видим много.
Здесь им отдых и подмога. С ними много и вестей.
Даст их множество морское что-нибудь тебе такое,
Чтоб бальзам пролился в зное, как конец тоски твоей.
Моряков, бывалых в море, мы пошлем искать в просторе.
Мы развеять сможем горе, и узнаем, где луна.
А пока, скрепи терпенье. Не на все же мученья.
Будет им и завершенье. Радость будет суждена».

Вот и люди перед нами, что направят бег морями.
«Вы плывите с кораблями там, где свет, и там, где темь.
Вы исполните хотенье сердца, где любви горенье.
Тысячу приняв лишенья, а не восемь или семь».
Он велел: «Ищите честно. Где есть пристань, повсеместно.
Может, что-нибудь известно где-нибудь», — сказал Фридон.
Ждать мне было утешенье. Тяжким пыткам облегчение.
Знал я даже наслаждение. Ныне этим пристыжен.
Трон велел он мне поставить, чтоб меня сильней прославить.
Говорил: «К чему лукавить? Не видал, кто ты такой.
Царь Индийский, чем возможно угодить тебе неложно?
Кто не хочет бестревожно быть во всем твоим слугой?»
Длеть ли мне повествованье? Были тщетны все исканья.
По пустым местам скитанья, — руки пусты каждый раз.
Вести нет, и я тоскую. И плывут в страну другую.
Нет. Утратил я златую. Слезы льют и льют из глаз.
Так Фридону возглашаю: «Нет тоске конца, ни краю.
Говорить о том — страдаю. Мне свидетель в небе бог.
Без тебя вся жизнь мне бремя, день и ночь — ночное время.
Вижу, цепко злое семя. Радость — где? Все сердце — вздох.
Больше вести уж не жду я. Что ж мне медлить здесь тоскуя?
Отпусти меня, прошу я. Позволения я молю».
Услыхал Фридон, и в слезы. Окропил он кровью розы.
«Ныне дни мои — морозы. Больше жизнь я не люблю».
Он дает мне имя брата. И для каждого солдата
Мой уход — печаль, утрата. На колени предо мной.
Плачут все, я с ними плачу. Скольких здесь друзей утрачу.
«Не покинь. Нам дай удачу. Дай всю жизнь нам быть с тобой».
Я промолвил к ним: «Разлука мне, как вам, тоска и мука.
Сердце вам мое порука — нет мне жизни без нее.
Как я пленную покину? Как в огне моем остыну?
Все преграды я содвину. Должен в путь. Хоть на копье».
Тут Фридон для дорогого брата — ласковое слово,
И приводит вороного. Молвит: «Глянь же, твой он, конь.
Кипарис ты солнцеликий, дар возьми, хоть невеликий.
Будет люб тебе он, дикий и проворный, как огонь».
Провожал меня. С слезами расставались. И устами
Целовались. И сердцами все нелживыми грустя,
Не словами, а на деле, целым войском там скорбели.

Мы, прощаясь, так горели, как родитель и дитя.
Я один ушел в скитанья. Продолжал везде исканья.
Я не вынудил признанья у земли в путях потерь.
Прах молчал, молчало море. Я с судьбой в напрасном споре.
В тщетном с кем-то разговоре. Обезумел я как зверь».
Я сказал себе: «Не буду тщетно я скитаться всюду.
До меня пути нет чуду. Буду жить среди зверей».
Семь иль восемь слов с рабами и к Асмат: «Я вас скорбями
Утомил. Вы сыты днями. Сыты горестью моей.
Разорвите ж эти нити. Не со мной услад ищите.
Плачу горько, не глядите. Слезы пусть текут из глаз».
Чуть слышали в печали: «Горе! Горе!» — мне вскричали.
Что уста твои сказали! Что промолвил ты до нас!
О другом чтоб господине стали думать мы отныне.
За тобой хоть по пустыне, за конем, где знак подков.
Лишь с тобой, и прочь сомненья. Ты прекрасное виденье».
Кто изведаль власть мученья, он своих не слышит слов.
Речью слуг я так смутился, что от них не отлучился.
Но в пустыню удалился от людей, как от чумы.
Лучше, мнил я, быть с козлами и с оленьими стадами.
Я бродил один лугами и взбирался на холмы.
Лучше птицы, в их напеве. Ряд пещер, где были дэви,
Встретил, — в схватке, в диком гневе духов всех я истребил.
Против них был в полной силе. Но рабов они убили.
Латы их не защитили. Дождь судьбы меня кропил.
Видишь, брат, стеснен я днями. Без ума брожу полями.
Обольюсь порой слезами. Рухну, тяжкий, словно медь.
Эта дева лишь со мною. Той же горечью больною
Все по ней скорбит душою. Что осталось? Умереть.
Тускло все, темно и серо. Словно барс или пантера.
Мне она. В нее вся вера. Эта шкура — мне как герб.
Эта женщина, вздыхая, видит — скорбь как ночь густая.
Я как колос, увядая. Тщетно рядом острый серп.
Об утраченной тоскую. Где найду зарю златую?
Жизнь влачу как кару злую. Зверь, живу среди зверей.
Смерть была бы мне желанна. Смерть одна лишь необманна.
Смерть я кличу постоянно. Нет ее в темнотах дней».
Он лицо свое терзает. Щеки-розы разрывает.
И рубин преображает он в янтарь, тоской томим.

Воскликает: «Смерти, боже!» Автандил тоскует тоже.
Сердце с сердцем в пытке схоже. Дева плачет перед ним.
Таризель, Асмат смягченный, Автандилу, огорченный,
Говорит: «Тоски бессонной ныне знаешь ты рассказ.
Рассказать все было надо. Брату в том была отрада.
В путь теперь. Твоя услада ждет тебя. И близок час».
Автандил сказал: «Расстаться мне с тобою — с горем знаться,—
И слезами обливаться. Брошу брата моего.
Но, хотя заплачу снова, — не серчай на это слово, —
Толку нет в том никакого для терзанья твоего.
Если врач — пускай похвальный — сам узнал недуг печальный,
Тут, в нужде многострадальной, он другого позовет.
Скажет, в чем его горенье, где страданья и мученья.
И другой найдет лечение — лучше, чем он сам найдет.
Слушай, крик напрасен шумный. Ты меня, не как безумный,
Слушай мудро. В многодумной ты проверке все проверь.
Тот, кто сердцем столь свирепый, в деле все разрушит скрепы.
К той, чьи чары нежно-лепы, я, горя, пойду теперь.
На нее взглянуть хочу я, сердце милой подтверждаю я,
Что узнал, ей расскажу я, и любви услышу вздох.
А тебя прошу как друга, в том взаимная услуга,
Будем помнить друг про друга, небо в небе, бог есть бог.
Если дашь мне обещанье претерпеть здесь ожиданье,
Обещаюсь все скитанья предпринять я для тебя.
Пусть томлений будет много, в честь тебя легка дорога,
И найду я, с волей бога, ту, кем ты горишь, любя».
Он ответил: «Чужестранный, любишь ты меня, желанный,
Как в любви необманной любит розу соловей.
Как же я тебя забуду? Ты чудесен, верю чуду.
Бог дозволит, снова буду с юной прелестью твоей.
Если ты со мной, алоэ, я взгляну в лицо живое, —
Сердцем в поле я пустое для чего к козлам пойду.
Коль солгу перед тобою, строгим будь мне бог судьбою.
Ты придешь, и колдовскою чарой прочь умчишь беду».
Клялись тут они сердцами, братья с мудрыми словами
И безумными умами, гиацинты с янтарем.
Дружбы пламенем палимы, говорили побратимы.
Ночь пока струила дымы, были все часы вдвоем.
Таризель до Автандила. Тот к тому. Их грусть роднила.

Утро светы засветило, и прощались две тоски.
Таризель был весь взметенным. Автандил был огорченным.
С сердцем ехал он стесненным, путь держа чрез тростники.
Провожая Автандила, и Асмат его молила,
Заклиная, говорила: «Твой приезд — всегда пора».
Пальцы кверху поднимала. Было горьких слез немало.
Как фиалка увядала. Тот сказал: «Вернусь, сестра.
Правде верь, не верь обману. Замедляться там не стану.
Он же да не мучит рану. Не пускай блуждать его.
Чрез два месяца — свиданье. Коль промедлю ожиданье,
В том постыдное деянье. Знак несчастья моего».

18. Сказ о том, как Автандил возвратился в Арабию после того, как он нашел Таризеля и расстался с ним

Путь держа в далекой дали, он конечно был в печали.
Руки розы разрывали, и едва он мог вздохнуть.
И хоть ехал он к победам, путь кровавый зверю ведом.
Зверь лизал ту кровь, и следом продолжал за юным путь.
Прибыл к месту расставанья. Дождались бойцы свиданья.
Началось ликование. К Шермадину в тот же час
Вести шлют, бегут проворно: «Без кого все было черно,
Прибыл, день горит узорно, солнце вновь горит для нас».
Он идет к нему до встречи. Говорит такие речи:
«Истребитель в ярой сече! Это ты и ты не тень?»
Руки он ему целуя, молвит: «Сплю или не сплю я?
Жив, здоров ты, и, ликуя, к нам пришел как яркий день».
Витязь низко поклонился. Ликом к лику приложился.
«Случай злой здесь не случился. Слава богу!» — говорит.
Праздник встречи длится, строен. Целовали, кто достоин.
Всяк сановный, всякий воин, все ликуют, светлый вид.
Восклицают: «Слава богу!» Всею толпою в путь-дорогу
К новозданному чертогу. Видеть все хотят его.
Он за светлый пир садится. Гордый, смелый веселится.
Сколько слов ни сгромоздится, не опишешь здесь всего.
Шермадину повествует, как нашел того, кто чует
В сердце жало, и тоскует. И, глаза полузакрыв,
Говорит о Таризеле: «Он мне солнце, цвет в апреле.

В сакле бедной, во дворце ли, без него я жив-не жив».
Знак являя должной чести, Шермадин во всем с ним вместе,
Говорит о доме вести: «Твой отъезд был скрыт от всех.
Все — как дал ты повеленье». В этот день отдохновение.
Пир с друзьями, развлечение и безоблачность утех.
На коне уж он с зарею. Шермадина пред собою
Выслал с вестию благою: «Возвести, что я, мол, тут».
Быстроты исполнен вспевной, путь в три дня десятидневный.
Узрит лев красы царевны, что так солнечно цветут.
Весть он шлет царю: «Властитель! Мощный, гордый повелитель!
Осмотрительный служитель — пред величеством твоим.
Сам себе я был презренный, не узнав, кто тот забвенный.
Ныне — с вестью полноценной, весел, здоров и невредим».
С Ростэваном солнце рядом. Шермадин к нему с докладом:
«Витязь некий встречен взглядом. Все разведаль Автандил».
И промолвил царь могучий: «Вот господь развеял тучи.
Я о том в тревоге жгучей бога ревностно молил».
К Тинатин, к заре безночной, обращение с вестью точной:
«Он приходит в час урочный. Вести светлые несет».
От нее — огонь привета, ярче солнечного света.
Дар богатый в знак ответа. И одет ей весь народ.
На коня Ростэн садится, к встрече с витязем стремится.
Солнцеликий не затмится, расточив свои огни.
Встреча — радость. Два верховных полны светлых чувств любовных.
И толпа кругом сановных. Словно пьяные они.
Пред минутою сближенья витязь прочь с коня в мгновение.
Воздаст царю почтенье. Отмечая торжество,
Царь дает ему лобзание. И в дворец для пиროванья,
Там пресветлое собрание, чтоб приветствовать его.
Солнцу солнц от льва над львами поклоненье. Хрусталями
Розоцветными огнями светит нежная краса.
Этим нежным током света, как зарей она одета.
Их жилище, нет, не это, — их обитель небеса.
Радость пира свет-картина. Ласков лик у властелина.
Любит витязя как сына. И на свежие снега
Нежно падают снежинки, и на розе дрожь росинки.
Но обильней, чем слезинки, рассыпает жемчуга.

Пили, ели, упивались. Гости хмельные расстались.
Лишь сановные остались, внемлют витязю кругом.
Он к царю, на вопрошанья, говорит про испытанья,
Также все, что в днях скитанья он узнал о странном том.
«Не дивись, что, повествуя, много раз о нем вздохну я.
С солнцем смелого сравню я, с солнцем в зыби облаков.
На него едва кто глянет, без ума сейчас же станет.
Ах, далеко он, и вянет, диво-роза средь шипов.
Если рок сразит обманом, и откроет сердце ранам,
Станет здесь кристалл шафраном, и терновником тростник».
Щеки тут у Автандила влага грусти оросила.
Рассказал он все, как было, как к безумцу он проник.
«Там, где дэви обитали, пребывает он в печали.
Верность девы, в этой дали, служит витязю в скорбях.
В шкуру барсову одетый, бархат, золото и светы
Презирает, — лишь согретый в пожирающих огнях».
Вот, предмет для тоскованья, кончил он повествованье.
К зорям нежного сиянья, взор его стремится к ней.
Силу рук его хвалили. Дивовались грустной были.
«Дни тебя не истребили, — истребитель ты скорбей».
Тинатин в вестях улада. Есть и пить сегодня рада.
Пленник принял ласку взгляда. Он вошел в ее покой.
Путь тревожный был не вечен. Он приятным словом встречен,
Солнцеликою отмечен. Полон радости живой.
Витязь горд, горит очами, полон нежными речами.
Лев, бродил в полях он с львами, и утратил цвет лица,
Был он витязем единым, драгоценнейшим рубином,
Встретил сердце сердцем львиным, только так живут сердца.
Село солнце на престоле. Цвет алоэ в нежной холе.
Юный стебель в райской воле. Окропил его Ефрат.
Брови дугами подъяты. И волос блестят агаты.
Я б афинян — там богаты красноречьем — слушать рад.
Сам хвалю — и не умею. На скамье он сел пред нею,
Пред владычицей своею. Люб им стройный разговор.
Говорят они красиво. Их беседа так учтива.
«Встретив беды терпеливо, ты не тщетно шел в простор?»
Он ответил: «Коль хотенье знает счастье достиженья,
Говорить про огорченье — вспоминать о дне, что был.

Мною найден тополь дальный, что омыт рекой кристальной.
Роза — лик его печальный, цвет он, вянувший без сил.
Кипарисом тонкостенным, в тоскованьи непрестанном,
Он во сне каком-то странном. Потерял он свой хрусталь.
Нет пути соединенья. В пытке вечной он горенья.
Вместе с ним терплю мученья, и о нем моя печаль».
Рассказал он все печали, что его повсюду ждали
В дни скитаний в чужедали. Рассказал, как бог судил,
Чтоб нашел, чего искал он. «Жизнь и мир, все отвергал он,
Средь зверей, средь диких скал он — словно тень среди могил.
Не проси, чтобы хваленья я сказал для разumenья
Ворожащего виденья. Глянь — ив мире лучше нет.
Смотришь, нет, не цвет шафрана, — роза, пусть и не румяна.
И фиалки средь тумана, в целый свяжешь их букет».
Все, что знал, сказал подробно. Как Асмат в скорбях беззлобна.
«Барсу дикому подобно, ходит он, и след за ним.
Свет его лишь сумрак серый. Дом его лишь глубь пещеры.
Там страдает он без меры. Жизнью каждый здесь томим».
Услыхав повествованье, дева молвила: «Желанье
Сердца — вот». И в ней сиянье. Полнолунная она.
Возвещает: «Как привечу? Как на зов такой отвечу?
Чем, такую ведав сечу, рана будет смягчена?»
Отвечал: «Того нам трудно знать в ком сердце безрассудно.
Мы страдаем обоюдно. Хочет он гореть борьбой.
Не его в том назначенье. Обещал я возвращенье.
На себя принять лишенья. Солнце, клялся я тобой.
Хоть бы тяжкие услуги, другу помощь только в друге.
Сердце — сердцу. Через выюги верный путь и мост любовь.
Но печаль ложится дымом — видеть грусть в лице любимом.
Снова быть судьбой гонимым, по тебе томиться вновь!
Без него ничто отрада. В самом счастье капли яда».
«Все, что сердцу было надо», — нить ведет она словам. —
Найдена тобой утрата. И любовь твоя не смята.
Цвет в ней, полный аромата. Сердцу я нашла бальзам.
Как природе, нам знакомы — солнце светлое и громы.
То мы к радости влекомы, то бывает сердцу жаль.
В небе нет грозы и злобы, нет угроз земной утробы,
В мире радость, — для чего бы стала нежить я печаль.
Клятву молвил ты неложно, изменить ей невозможно.

Сердцу друга, что тревожно, посвяти полет огня.
Знай незнаемое ныне. Излечи его в кручине.
Но в какой мне быть пустыне! Свет уходит от меня!»
Витязь молвил: «Я с тобою, — стало семь скорбей с восьмою,
Над горячею водою не согреется мороз.
Дуй не дуй, а быть тут сизу. И закат раскинет ризу, —
Хоть целует солнце снизу, росы тут, как капли слез.
Быть с тобой — с собой быть в бое. Прочь идти — терзанье злое,
В десять сотен раз лихое. В сердце стрелы бьют как в цель.
Ветер жгучий веет в очи. Стала жизнь моя короче.
Полны горя зреют ночи, и тоска моя постель.
Слышал я твое реченье. Сердцем понял повеленье.
В розе нежное горенье, но растут и острия.
Солнце, будь моей зарею, и, прощаясь со мною,
Дай мне знак, чтобы живую жил в пути надеждой я».
Он настойчив, не докучный, витязь в горести разлучной,
Звук грузинской речи звучной на устах его, как мед.
Благо к благу, око в око. Слово нежного урока
Говорит. Вздохнув глубоко, дева жемчуг отдает.
Что нежней? Прижать агаты до рубинов. И богаты
От алоэ ароматы. Строен возле — кипарис.
Возрасти в саду их рядом. Но скажи «Прости» уладам —
Кто разлучным смотрит взглядом, где дороги разошлись.
Весь восторг их — в долгом взоре. И расстались. В сердце горе.
Если между ними море, не нагнать струе струю.
Солнце красное палимо. Молвит скорбный как из дыма:
«О, судьба ненасытима, испивая кровь мою».
Витязь, грудь свою терзая и удары повторяя,
Плачет. Сердце, любя, говорит в себе: «Горю!»
Если солнце скрылось в туче, темны доли, темны кручи.
И разлуки мрак тягучий ночь ведет, а не зарю.
Кровь и слезы льют щеками, точат тропки ручейками.
«Солнце», — молвит, — «облаками затянулось предо мной.
Жертва пусть моя невольна, солнца все же недовольно.
О, дивлюсь, как в сердце больно. Но хочу я жить — тоской.
Райским быть, вчера лишь, деревом, быть оваяну напевом,
И судьба с внезапным гневом нож вонзает, счастья нет.
Гнет тоски как тяжесть гири. Я в сетях. Огонь все шире.
Так идут дороги в мире. Мир есть сказка. Мир есть бред!»

Брызги слез, дрожанье, лепет. В сердце вздох, и стон и трепет.
Час разлуки чуть зацепит, он идет до дна сердец.
Быть с любимой — жизнь золотая. Быть в разлуке — ночь глухая.
Ах, начало пеленая, саван вьет всегда конец.
У себя, в своем покое, витязь в пламени и зное.
Но лицо ее живое где-то близко. Дышит свет.
Чувств лишился. Сердце тает. Тополь в стуже, увядает.
Ах, без солнца не блистает, а темнеет розоцвет.
Что есть сердце человека? Ненасытнейший калека.
В свет идет, и в тьме от века. Путь невидящий слепец.
Все в превратном цепенеет. Жить для жизни не умеет.
Даже смертью не владеет. Острия плетет в венец.
Сердцем так он спор сердечный вел в минуте скоротечной.
Жемчуг взял, и свет тот млечный приложить к губам был рад.
Этот знак душе был нужен. Ум в тоске обезоружен.
Слезы льет он до жемчужин, током светлым, как Ефрат.
Ко двору зовут с зарею. Бодрой он пошел стопою.
Встречен людною толпою. Он склоняет гордый стан.
Царь оделся для охоты. Да развеются заботы.
Утро в блесках позолоты. Кличет рог и барабан.
Повесть этой пышной были как расскажешь в полной силе?
Всех литавры оглушили. Словно на ухо кричи.
Солнце скрыто соколами. Своры псов бегут полями.
Рдеет пурпур как цветами, — словно речь вели мечи.
Были ловли, были крики. Возвращаются владыки.
Все князья здесь, светлолики. Сел Ростэн, сияет взор.
Был шатер воздвигнут красный не один с игрой атласной.
Арфы с лютней — звук согласный. Полнозвучный грянул хор.
Витязь рядом с властелином. Так отец бывает с сыном.
Их кристалл горит с рубином. Вспышки молний — свет зубов.
Кто достоин — в приближеньи внемлет сказу о томленьи.
А дружины — в отдаленьи. Таризель над вязью слов.
Витязь с горечью заботы возвращается с охоты.
Луч один в его темноты проникает, — нежный лик.
То он встанет, то ложится. От безумных сон стремится.
Если сердце загорится, кто придет на этот крик.
Лег и молвит: «Утешенье в чем найду для огорченья?
Я в печали разлученья. Ты в далекой стороне.
Райский стебель, цвет достойный, над волной всегда прибойной

Ты тростник светло-спокойный. Появись мне хоть во сне».
И течет слеза, другая. Снова сердце унимая,
Молвит: «Мудрость золотая — в том, что нужно — так терпи».
Если в божестве нам отрада, и печаль принять нам надо.
Не томи напрасно взгляда. Ночь спустила сумрак. Спи».
Снова к сердцу увещанье: «Знаю, смерть твое желанье.
Но — живи и знай терзанье. Не жалею для жертвы кровь.
И, боясь чужого зренья, ты скрывай свое горенье,
Недостойно есть любленье выявлять свою любовь».

19. Сказ о том, как Автандил обратился с просьбой к царю Ростэвану, и о том, что сказал ему визирь

Час рассветный засветился, витязь в строй свой нарядился.
«Если б огонь любви длился», — молвил, — «в скрытности во мне».
Просит сердце о терпенье. Лунноликое виденье.
К дому визиря стремленье. Вот он едет на коне.
Визирь слышит, и, встречая, говорит: «Заря золотая
Входит в дом ко мне, блистая: этот день есть весть улад.
Как цветок благоуханный — звук приветов золотых.
Если гость пришел желанный, и хозяин сердцем рад».
И хозяин просит к дому. Быстро к гостю дорогому.
Слезть с коня помог младому. Тотчас под ноги ковер.
Из богатого Хатая. В доме гость как солнце рая.
Молвят: «Розы расцветая, легкий веет ветер с гор».
Сел. Безумеют сердцами, кто принял к нему глазами.
В честь вменяют — рдеть огнями, перед юным обомлеть.
Лик его — им наслажденье. Вздохи — счет их вне счисления.
Уходить — им повеленье. Круг домашний стал редеть.
И когда их стало двое, слово к визирю такое
Молвит тот, чей лик алоэ: «Ты в чертоге, где совет,
Знаешь все, открыта тайна. Царь тебе необычайно
Верит. Слушай же. Бескрайна боль моя. Пролей мне свет.
Чудный витязь, в ком горенье, он мое воспламенение.
Я убит, во мне томленье. В тот, где он, я замкнут круг.
Жизнью он не пошлется для меня. Кто так щедрится,
Равным он да озарится. Друга любит верный друг.

Увидал его, — и в свете. И трепещет сердце в сети.
Неразрывны узы эти. И мое терпенье — с ним.
Бог, такого создавая, создал солнце, зажигая.
И Асмат мне, как родная. Как сестрой я ей любим.
В час как с ними я прощался, клятвой страшною я клялся.
«Я вернусь. Я обещался. Враг твой будет посрамлен.
С сердцем здесь ты затемненным. Лик явлю твой озаренным».
Мне пора идти к стесненным. Оттого я весь сожжен.
Это слово не хвастливо. Речь моя сполна правдива.
Я задержан в миг порыва. Брошен хворост в мой костер.
Чтоб безумным был безумный брошен в скорби многотуманной, —
Где ломатель клятв неумный не вступил чрез то в позор?
Не могу свершить измену. Так иди к царю Ростэну.
Не предаст меня он плену, — я уйду и с ним прощусь.
А пленит, — что толку в этом? Помоги, и будь мне светом.
Сердцем, в племенах одетым, головой царя клянусь.
Я уйду. И молви снова: «Хвалит каждое здесь слово
Властелина. Лик живого света в небе, видит бог,
Как боюсь тебя. Немое горе — вот. Но он алоэ,
Витязь, кем сожжен я в зное. Сердце взял он. Сердце — вздох.
О, пойми же, царь, что ныне без него я здесь в пустыне.
Что могу свершать? В кручине этой — дух мой вовсе мал.
Если друга не оставлю, я тебя же тем прославлю.
Коль спасенья не доставлю, все ж я клятву не сломал.
Если раб твой удалится, гневом царь да не затмится.
И печалью не мрачится. В божьей воле я пойду.
Коль победа, вновь с тобою твой слуга. Коль смертью злою
Взят я, — ты цари зарею, и неси врагам беду».
И до визира он снова говорит: «Внемли живого
Сердца звук, и это слово передай сполна царю.
Да пребудет в снах согласных. А тебе сто тысяч красных,
В златоцвете полновластных, подкуп щедрый, я дарю».
Отвечает тот с улыбкой: «Слово здесь твое — с ошибкой.
Мне наградою — что, гибкий стебель, ты пришел сюда.
Но царю могу ль при встрече передать твои я речи?
Сложит дар он мне на плечи, что запомню навсегда.
Клясться я уполномочен: казни миг, он будет точен,

Ни на краткость не отсрочен. Будет золото с тобой.
Смерть мне. С преданным слугою, будет гроб один со мною.
Жизнь люблю, того не скрою. Не скажу я речи той.
Не могу, во имя бога. Не суди меня в том строго.
Чрез дорогу ведь дорога неспособна пробежать.
Царь сживет меня со света. Что он молвит для привета?
«Сумасшедший что ли это?» Нет, уж лучше здесь дышать.
Даже если царь дозволит, — кто же войско приневолит
Быть слепым? Кто обездолит сам себя, лишась лучей?
Ты уйдешь, и ворог глянет, руку жадную протянет.
Впрочем, с ястребом не станет вровень малый воробей».
Витязь плачет и, тоскуя, молвит: «В сердце нож вонжу я.
Визирь, слышишь ли? Люблю я. Знал ли ты, что есть любовь?
Знал ли силу обещанья? Клятву, дружбу? Ты в незнание.
Это ведая страданье, радость знать могу ли вновь.
Солнце ход свой повернуло. Что б его назад вернуло?
Сладок звук лесного гула. Возвратим к себе весну.
Но слова мои напрасны. Слеп к другому безучастный.
Этой речи ток неясный слов лишь множит пелену.
Для царя я — бесполезный. Как безумный я над бездной.
И войскам рукой железной я не буду в миге сечь.
Не устану слезы лить я. Предпочтительней отбытье.
Клятву как бы мог сломить я? Сердце в деле явит речь.
Предо мной, тоской объятый, как же сердцем ты проклятым
Визирь можешь быть не смятым? Воском стала бы здесь сталь,
Умягчились бы утесы. Не помогут глаз здесь росы.
В час, когда в беде мы босы, вскрикнешь, — будет ли мне жаль?
Коль не даст мне дозволенья, совершу исчезновенье
Я тайком. Я весь горенье. Сердце пламеням предам.
Да вступлю же я в пожары. А тебе не будет кары.
Молви: «Все снесу удары, хоть бы пытки ждали там».
Визирь молвит: «Я твоими тоскованьями — как в дыме
И в огне, — пребуду с ними, — мир исчез, с тобой скорбя.
Лучше слов — порой молчанье. Речь меняет очертанья.
Но — скажу. И что страданья. Пусть умру я за тебя».
Визирь встал. Вошел смущенный во дворец он позлащенный.
Видит — царь там, облаченный, весь как солнце перед ним.
Он испуган, он робеет, вести той сказать не смеет.
О войне не разумеет, что решить умом своим.

Видя это онеменение, царь явил недоумение.
«Что случилось? В чем сомнение? В чем есть грусть души твоей?»
Молвит тот: «Царя благого огорчу. Убьешь сурово,
Но и право, слыша слово удивительных вестей.
Так скорблю я поневоле, что ни менее, ни боле
Изменить не в силах доли. Я посол, но уstraшен.
Автандил, прося прощенья, слово шлет к тебе моления.
Отпусти. Туда стремление, где тот витязь, — молит он».
Робко, полон опасенья, все сказал он изъяснения,
Как весь мир ему мученья, как стрелою ранен лев.
«Я бессилен, не скажу я, как он бьется там, тоскуя.
Все ж ты прав, коль, негодуя, на меня низвергнешь гнев».
Царь, услыша слово это, глянул, лик лишился цвета,
Мысль безумием одета. Кто б увидел, знал бы страх.
Вскликнул: «Верно без ума ты. А не то мне никогда ты
Не сказал бы так. Отплаты верно ждешь? Ты будешь прах.
О, предатель вероломный! Точно радость вести скромной,
Рассказал. Изменой темной остается лишь добить.
Сумасшедший! Для лихого смел ко мне явиться слова.
Это — визирь. Мне такого нужно ль? Здесь тебе не быть!
В чем досада, в чем кручина, не должны ль от властелина
Утаить? А тут лавина глупых слов, — им слух готовь.
Уж оглох бы я скорее, чем тут слышать лиходея.
Грех моя отбросит шея, коль твою пролью я кровь».
И еще сказал: «Когда бы, раб неверный, раб ты слабый,
Был не послан им, с плеча бы — голова. И разум наш
Не узнал бы скорби нудной. Ишь, безумный, безрассудный,
Прочь, сказитель сказки трудной. Сделал дело — и шабаш».
Он нагнулся, стул хватает. В стену, — стену раздробляет.
В цель свою не попадает. Но алмазом стал ивняк.
«Как ты мог, хоть бы в намеке, боль мою ускорить в сроке?»
Визирь плачет, белы щеки, в помутневшем взоре мрак.
Видя этот гнев ужасный, визирь прочь бежит, злосчастный.
Больше речи нет напрасной. Как лиса, он выполз вон.
В самом сердце больно ранен. Сколь успех непостоянен.
Как придворный, был желанен — и самим собой сражен.
Размышляет он: «О, боже! Есть ли больше скорбь? И что же
Думал я, его тревожа? Чем так был я затемнен?
Кто б он ни был, кто не дело властелину молвит смело,

Пусть достигнет он предела. Скорбь, как я, да знает он».
Как вошел, глаза сияли. Вышел визирь уж в опале.
Автандилу он в печали говорит, душой скорбя:
«Вот спасибо. Я придворный — светлый был, а ныне черный.
Людам лик явлю зазорный, сам утративший себя».
Просит подкуп. Хоть тревожит душу скорбь, он шутки множит.
Как еще шутить он может? Или шутит как в бреду?
Говорит: «Кто договора не исполнит, с тем и ссора,
Путь крутого разговора. Подкуп нужен и в аду».
Молвит: «Как я был привечен? Как царем я был отмечен?
Человек недолговечен. Мог уж быть я не живым.
Как глупец пред ним предстал я. Честь и разум потерял я.
Как еще живой бежал я? Верно был господь над ним.
Я ведь тут не в заблужденье. Знал, что делал, без сомненья.
Предумышленность стремленья. Гнев его предвидел я.
В том печаль моя двойная. Но страдаю за тебя я.
Значит, жертва не пустая, хоть бы смерть пришла моя».
Отвечает витязь смело: «До его уйду предела.
Если роза облетела, умирает соловей.
Улетает за живую он водою ключевою.
Коль не смочен он росой, жаждой он сожжен своей.
Без него здесь не живу я. Сесть ли, лечь ли, не могу я.
Если так томлюсь, тоскуя, как же хочет Ростэван,
Чтоб блистал я пред войсками и сражался я с врагами?
Кто с угрюмыми мечтами, свет ли помощи в нем дан?
Я сказал царю однажды. Я скажу ему и дважды.
Пусть он видит пламя жажды, сердце сушащей мое.
Коль не даст мне разрешение, я тайком исчезновенье
Совершу без позволения. Смерть грозит? Давай ее».
После речи беспокойной визирь пир затеял стройный,
Их обоих пир достойный. Рассыпает он дары.
Юных, старых награждает. Пир веселием блистает.
Витязь-солнце отбывает. Час ночной пришел поры.
Автандил царю посланье шлет: «Какое мне деянье
Совершить для оказанья благодарности царю?
Раб я твой, пока живу я. За тебя с мечом умру я.
Ревность веса сохраню я. За любовь — любовь дарю».
Несравненный даже в этом. Верный мужества заветам.
Как воспеть его? Он светом весь оваян, как хвалой.

И к нему пришло смятенье. Если встало затрудненье,
В ком есть помощь и спасенье? Брат поможет и родной.

20. Слово Автандила к Шермадину при тайном отбытии его

Лик и образ господина, как до брата или сына,
Говорит до Шермадина: «Ныне день надежд моих.
Мне он явит, что ты можешь, чем ты мне в беде поможешь».
Песня, ты хвалу им сложишь! Их деянья красят стих!
Он сказал: «На удаление нет Ростэна позволения.
Нет в нем вовсе разуменья, как один живет в другом.
На чужбине иль в отчизне, но без друга нет мне жизни,
Что ж, мне быть всегда на тризне? Против бога, быть с грехом?
Лжец наказан будет строго. Вероломный — враг есть бога.
Решена моя дорога. Но горю я весь в огне.
Без него мне где отрада? Ничего душе не надо.
Только он есть радость взгляда. Сердце кличет: «Горе мне!»
Если друг, так почему ж бы не явить во имя дружбы
Сердцу три благие службы? Служба первая, — тоска,
Нежеланье отдаленья, и вторая — щедрость, рвенье,
Третья — с другом путь, стремленье, хоть дорога далека.
Но к чему нам длить беседу? Сократим ее. Я еду.
И не дам возникнуть следу. Сердце так лишь излечу.
А теперь, пока — с тобою, укрепись своей душою,
Был во всем научен мною, и еще я научу.
Пред владыками вниманье, это первое деянье.
Смелость выяви и знанье. Все пусть точно видит взор.
Да увидит всякий, кто ты. И о доме пусть заботы
Не впадут никак в темноты, — был ты светел до сих пор.
Враг грозит, — не будь беспечным. Щедрым будь с односердечным.
Кто же будет двуконечным и неверным, — убивай.
Да не знает власть утраты. Если я вернусь, богатой
От меня дождешься платы. Служба помнится. Прощай».
Вняв приветствие прощанья, Шермадин, сдержав рыданье,
Вскликнул: «Как же тоскованье здесь я вынесу один!
В сердце сумрак водворится. Дай с тобой не разлучиться.
Если где беда случится, я слуга, ты господин.
Кто слышал, чтоб так далеко витязь ездил одиноко,

Пропадал бы так без срока, сам в скорбях, берег — слугу?
Мня, что ты погиб там где-то, как здесь быть, не видя света?»
Витязь молвит: «Тщетно это. Взять тебя я не могу.
Плачь не плачь, но невозможно. Любишь ты меня неложно.
Дай отбыть мне бестревожно. Так велит моя стезя.
Эту вынеси потерю. Дом кому же я доверю?
Я тобою верность мерю. Взять тебя нельзя. Нельзя.
Должен, если я влюбленный, быть в тоске отъединенной.
Кто же, в сердце пораженный, не скитается один?
С кем любовь, пред тем дорога. В путь, блуждать, и ведать много
Дней тоски по воле бога. Не борись с игрой судьбин.
Буду я с тобой в разлуке, — ты люби меня без муки.
Враг не страшен. Сильны руки. Приказать нельзя рабам,
Сам, как раб, себе, ликуя, без печали послужу я.
Смелый дышит, не тоскуя. Будит в нем боязнь — лишь срам.
Я не старец тот сугубый, что свои утратив зубы,
Огурцы сбирал, да грубы оказались для него.
Умереть за друга мило. Солнце путь благословило.
С ней расстаться трудно было. Все иное ничего.
И возьми, вот завещанье. В нем Ростэну указанье,
И мольба, чтоб он вниманье царски выявил тебе.
Коль умру, черта предела. Не убей себя: то дело
Сатаны. Удар свой смело встретить. И плачь. И верь судьбе».

21. Завещание Автандила, посланное царю Ростэвану при тайном отбытии его

Сел писать он завещанье, столь прискорбное писанье:
«Царь! Прости непослушанье. Огнь зажегшего в крови
Я ушел искать. В разлуке с ним не в силах быть я.
Муки Сердце — слово здесь поруки. Лик мне божеский яви.
Знаю я, мое решение в этот час есть дерзновенье,
Но его без осужденья примешь в днях. Есть зов? Спеши.
Жертва другу — власть закона. Царь, вспомни мысль Платона:
«Ложь двуличья — порчи лоно и для тела, и души».
Ложь — источник злоключенья. Бросить друга? Унижение.
Ближе друг, в огне сцепленья, чем рожденный в братстве брат.
Что мне мудрые, их знанье? Друг, так к другу и в скитанье.

Это путь для ликования воинств Света, их громад.
Глянь в апостольское слово о Любви, ключе живого,
Как там хвалят, вновь и снова: «О, Любовь возносит нас».
Что любви есть чудесней? То припев священной песни.
Каждый светлый с ней кудесник, загоровшись в первый раз.
Он, творец мой, он, который мною вражеские хоры
Поразит, подмогой спорой явит малое ничто.
Закрепляющий границы, бог, в мгновение зеницы,
Сто сведет до единицы, и один вдруг будет сто.
Что без божьего хотенья может видеть совершенье?
Если нет лучей горенья, где фиалка? Розы нет.
Что красиво, то любимо, глаз влечет неотразимо.
Без него, как в мраках дыма, как же буду, зная свет.
Гнев узнав негодованья, ты прости мне ослушанье,
В ковы взять зачарованья, не ослушаться не мог.
Не уйти в тот миг стремящий — быть душой в печи горячей.
Где не быть, что горы, чащи, если волю я сберег?
Не поможет тоскованье. Слез бесплодно проливанье.
Если свыше приказанье, не свершить его нельзя.
Наши предки завещали нам борьбу и гнет печали.
С богом разве в бой вступали те, кому чрез плоть стезя?
В чем господне предрешенье обо мне, придет в свершенье.
Сердце, после возвращенья, уж не будет здесь золой.
Ты да светишь, величавый, в многосвете пышной славы:
Он мой свет, и нелукавый с ним порыв сердечный мой.
Это, царь, мое решение. Смерть мне, если кто реченье
Может молвит осужденья. Не скорби об этом дне.
Не могу я быть ни лживым, ни в свершении трусливым.
В вечном, взглядом прозорливым, он в лицо посмотрит мне.
Память в друге свет в потомство. Ненавижу скопидомство,
Ложь, измену. Вероломство не свершу и для царя.
Это было бы бесстыдно. И подумать так обидно.
Где ничтожней долю видно — запоздать, колеблясь зря?
Что случиться может хуже — смертный страх увидеть в муже?
В бой пошел, так почему же ведать страх? Кто враг, тот враг.
Не всегда ж дышать фиалкой. Кто труслив, тот в доле жалкой,
Точно женщина за прялкой. Слава лучше всяких благ.
Смерти узкая тропинка не задержка, не заминка.
Дуб пред ней, или былинка, слабый, сильный, — скрутит нить.

Перед ней никто не правый. Юный, старый, скосит травы.
Лучше смерть, но смерть со славой, чем в постыдной жизни жить.
Атеперь, о, царь, с опаской говорю. Не тешу сказкой —
Смерть с мгновенною развязкой ждет всегда нас в тишине.
День и ночь в одно свивая, вдруг приходит роковая.
Коль умрешь ты, жизнь немая будет быстрой зыбью мне.
Если это воля рока, что умру в пути до срока,
Сиротой, один, далеко, вне родной страны моей,
Неоплаканный родными, не одетый в смерти ими,
Ни друзьями дорогими, сердцем нежным пожалей.
Велики мои владенья. Кто их взвесил? Нет счисленья.
Дай же бедным сбереженья. И свободу дай рабам.
Тем, кто скудны, кто сироты, не спросивши: кто ты, что ты?
Дай, яви мои заботы: буду близок их мечтам.
Не возьмешь чего в казну ты, на сиротские приюты
Ты отдай. Потоки — путы: часть возьми ты на мосты.
Ничего я не жалею. Щедрым будь казной моею.
Лишь тобой смягчить сумею пламень нижней темноты.
От меня уж больше вести не дойдет. Я с этим вместе
Говорю тебе без лести: вот душа, ее печать.
Дьявол тут, своею властью, не придет ко мне за частью,
Ты же чужд не будь участью. Что мы можем с мертвых взять?
Сердце я во властелине и о том тревожу ныне:
О моем — о Шермадине — ты подумай в должный час.
В счете дни обильней стали: день добавочный — печали,
Чтобы слезы не бежали, слез не дай для этих глаз.
Завещанье написал я. Сам его здесь начертал я.
Ты, кого от детства знал я, глянь, пришла разлука нам.
Ухожу, а в сердце крики. Но пресветлые владыки
Да пребудут яснолики, и царят на страх врагам».
Написавши завещанье, Шермадину то писанье
Отдал он. Сказал: «Посланье это ты отдай царю.
В час свой. Ум твой это знает». И его он обнимает.
И над верным проливает кровь с слезами как зарю.

22. Молитва Автандила и бегство его

Он молился: «Бог могучий, бог земель и неба жгучий,

Ты пошлешь порою тучи. Ты пошлешь порой лучей.
Царь ты царств неизреченный, непонятный, неизменный,
Дай быть твердым в муке пленной, вождь сердечных всех речей.
Боже, боже, умоляю. Ты в горах ведешь по краю.
Дал любовь, и я сгораю. Дал любви ее закон.
Я с зарей моей взнесенной впредь пребуду разлученный,
Да не будет тот зажженный огонь ко мне испепелен.
Боже, боже, кто с тобою здесь сравнится? Надо мною
Ты проходишь вышиною. Будь подмогой мне в пути.
Сохрани от бездны моря, от врагов, сильнейших в споре,
От ночного зла, от горя. Дай, живя, к тебе идти».
Совершив свое моление, на коня без промедленья.
Тайно отбыл в отдаленье. Был отослан Шермадин.
Грудь себе терзает верный. Плачет в скорби беспримерной.
В ток какой вступить размерный, коль не виден господин?
В этот день Ростэн был мрачен. Был прием не обозначен.
Новый день блеснул, прозрачен, — он проснулся, раздражен.
Пламя с лика точно смыто. «Визирь где?» — сказал сердито.
И ведут того, — в нем скрыта дрожь, он бледен, уstraшен.

23. Сказ о том, как царь Ростэван услышал об Автандиле и тайном отбытии его

Чуть униженный и скромный, визирь в зал вошел приемный,
Как Ростэн сказал: «Истомной был я полон темноты.
Был в беспамятстве вчера я. Чем-то мучил ты, терзя.
В том была и гневность злая, визирь, сердце сердца ты.
Не припомню, что там было, в чем нужда у Автандила.
Что мне было столь немило? Гнев подобен был ручью.
Молвят мудрые: «Закляты в злобе пропасти и скаты».
Что мне там сказал вчера ты? Повтори-ка речь свою».
И вчерашнее тут слово визирь в страхе молвит снова.
Царь прослушал, и такого был ответа звук: «Еврей
Левий, верно, я свирепый. Или ты совсем нелепый.
Позабудь свои зацепы. Или смерть иди скорей».
Визирь — в поиски, печальный. Не находит, где кристальный.
Лишь толпой в тоске опальной слезы льют рабы ручьем.
Весть о бегстве, онемелый, слышит. Молвит: «Есть кто смелый, —

Так — к царю. Я в те пределы не пойду, — уж слышал гром». Визирь все не прибывает. Царь другого посылает. Вестник медлит, не вступает. Кто дерзнет принести тот сказ? И в Ростэне подозренья. В десять раз больней мученья. «Видно, тот, кто весь боренье, от моих сокрылся глаз». С головою, ниц склоненной, мыслит сильно огорченный. Вздых за вздохом, повторенный. Повелел рабу: «Иди, Да придет злосчастно-сучный». Входит визирь злополучный. Бледный, скорбный, и беззвучный, со стеснением в груди. Видя это привиденье, царь спросил: «И так, горенья Солнца нет? В нем измененье? Он превратная луна?» Полным сказано все сказом, как исчез — кто был алмазом. «Солнца нет над нашим глазом, и погода не ясна». Царь, услышав слово тайны, воскликнул. Вопль необычайный. В боли он скорбит бескрайной: «Милый сын мой, где же ты?» Рвет он бороду, терзает. Лик ногтями разрывает. «Где же светоч мой сияет? Я один средь темноты. Если сам ты там с собою, ты не будешь сиротою. Я же, сын, один с тоскою. Ты меня осиротил. В язвах быть мне, болям длиться. Без любимого томиться. Час пока не даст нам слиться, — как терплю, — сказать нет сил. Не вернешься без заботы ты в веселый час охоты. Самоцвет, кому темноты неизвестны. Стройный стан. Не услышу дорогого. Нежный голос птицелова В чуткий слух не кликнет снова. Что дворец? В нем мрак мне дан. Знаю я, ты силен, молод. Лук с тобой, насытишь голод. Кто твоей стрелой уколот, тот сейчас же в смертном сне. Мудрость бога — всеблагая. Но, коль плача и стеная, Сын, умру здесь без тебя я, кто ж поплачет обо мне!» Шум раздался. Рой придворных. Воздух полон слов укорных. Рвут брады свои, в повторных удареньях скорбных рук. «Были мы тобой богаты», — молвят, — «с нами был когда ты. Ныне день для нас проклятый, — солнца нет и тьма вокруг». Увидав ряды сановных как родных своих и кровных, Царь в скорбях беспрекословных молвил: «Редок блеск лучей. Солнца нет, мы слабы в силе. Чем пред ним мы согрешили? Кто на битву, взмахом крылий, поведет полет мечей?» Все с скорбящим восскорбели. И затихли, присмирели. Царь спросил: «С слугой в том деле витязь был или один?»

И пришел, сдержав рыданье, весь в тревоге ожидания,
И царю дал завещанье, мертвый в жизни, Шермадин.
«Вот послание какое», — молвил он, — «в его покое
Я нашел. И в смутном рое лишь рабы скорбели вокруг.
Скрылся он своей тропею, никого не взяв с собою.
Смерть мне! С этою судьбою жизнь мне — тягостный недуг.
Прочитали завещанье. Снова долгие стенанья.
И дает он приказанье: «В войске — черный цвет цвети.
Будем в скорби с сиротами мы молиться, и с вдовами.
Бог да сжалится над нами, и ведет его в пути».

24. Сказ о том, как вторично встретился Автандил с Таризлем

Если месяц волоконце разовеет вдали от солнца,
Смотрит ярко он в оконце, — если ж близко, бледен свет.
Но бессолнечность для розы есть бесцветность, мгла угрозы.
Как печальны наши грезы, если милых с нами нет.
Вот, расскажет песнопенье, как тот витязь в отдаленье
Отбывает, и кипение в горьком сердце, плач и стон.
Едет, едет, обернется. Что, коль солнце, свет чей льется,
Солнцем сердца там зажжется? В обомленье меркнет он.
В полуобмороке млея, обессилел он, немея.
Только слезы, не редая, льют, не видит ничего.
Где же помощь? Где подмога? Только скорбь терзает строго.
Он не видит, где дорога, конь куда несет его.
Говорит: «Моя златая! Без тебя изнемогая,
Если будет мысль — немая, мысль — проклят ем назови.
Сердце все к тебе стремится, хочет к милой возвратиться,
Кто в любви, да подчинится он сполна своей любви.
До того, когда мгновенье принесет соединенье,
В чем найду отдохновение? Я б себя убил сейчас.
Я б ушел из жизни вольно. Ты была бы недовольна.
И тебе бы стало больно. Лучше слезы лить из глаз».
Молвит: «Солнце! Нежа очи, образ солнечной ты ночи
Перед тем, кто средоточий есть единство, в бурях тишь.
Ты, что всем телам небесным быть даешь в пути чудесном,
За скитанием безвестным дай мне с нею быть. Услышь.

Для премудрых, в жизни сменной, образ бога ты нетленный.
Помоги. Я ныне пленный. В кандалах железных я.
Через горы и равнину я к кристаллу и рубину
Путь держу, — сам, бледный, стыну. Ранит близь и даль моя».
И «Прости» сказав покою, в плаче тает он свечою.
Опоздать страшась, порою поздней едет между гор.
Пала ночь, и звезды встали. Отдых в них его печали.
С ней сравнил их в синей дали, с ними держит разговор.
Он до месячного круга молвит: «Страстного недуга
Огонь ты шлешь. Любить друг друга ты велишь. Страдать, любя.
И бальзам даешь терпенья. С той, в ком лунное горенье,
Дай мне с ней соединенье — через пламя — чрез тебя».
Ночь была ему услада. День лил в сердце капли яда.
Словно отдыха среди сада, ждал, когда придет закат.
Видит ключ, остановился. До журчанья наклонился.
И опять он в путь пустился, не стремя уж взор назад.
В одиночестве так вдвое плачет тот, чей стан — алоэ.
Хочет пищи все живое. Застрелил себе козла.
Ел, зажарив. Стал бодрее. Лик воинствен, пламенея.
Молвит: «Жизнь без роз беднее, и совсем не весела».
Все о нем не расскажу я, как он ехал там, тоскуя,
То отраду в сердце чуя, то скорбя о гнете зол.
И не раз глаза краснели. Но уж путь дошел до цели.
Вон пещеры засерели. Прямо к входу он пошел.
Вон Асмат. К нему душою рвется. Хлынули струею
Слезы. Радостью такую не зажжется дважды взгляд.
Витязь прочь с коня скорее. Обнял. Сердцу веселее.
И целует. Если, млея, ждет кто друга, встрече рад.
Он спросил ее: «Владыка где?». И слезы льются с лика
Юной девы. Горше крика безглагольная печаль.
Молвит: «Чуть ты удалился, стал блуждать он, вовсе скрылся.
Быть в пещере тяготился. Где он? В чем он? Скрыла даль».
Столь был витязь огорченный, словно был копьем пронзенный,
Прямо в сердце. И к смущенной обратясь Асмат, сказал:
«О, сестра! Как некрасиво лгать тому, в ком все правдиво?
Иль он клялся — торопливо? Иль, поклявшись, он солгал?
Целый мир в ничто считал я. Клятву дал, ее сдержал я.

В нем был мир, — и потерял я все, когда превратен он.
Света нет мне никакого. Как он смел нарушить слово?
Впрочем, что же? Рока злого властью весь я омрачен». Дева молвила стыдливо: «Прав ты в этот миг порыва.
Но суди же справедливо, — и в пристрастии не вини —
Сердце может обещаться, — клятву выполнить, не сдаться, —
Сердце вырвано, — скитаться должен он, сжигая дни.
Сердце, дух и мысль — в слиянии. Сердца нет, — и те в скитании.
Кто в том странном сочетании потеряет сердце вдруг,
Он как вихрями носимый, от людей бежит, гонимый.
Знал ли ты, какие — дымы, если пламени — вокруг?
С побратимом разлученный, прав ты в боли огорченной.
Но какой он был взметенный. Как скажу о пытке той?
Изменяют здесь слова мне. Возопить могли бы камни.
Та видна была тоска мне, под моею злой звездой.
Еще не было сказанья о такой тоске страданья.
Тут в скалу войдет терзанье. Влагу рек придашь ручью.
Эта огненная пытка больше всякого избытка.
А ума в любом не жидко, если кто другой в бою.
Как пошел он, так, сгорая, молвлю я: «Твоя сестра я.
Автандил придет, — тогда я что ж отвечу, побратим?»
Он сказал: «Коли придет он, здесь меня легко найдет он.
Молви: «Брат твой, — близко ждет он». Клятву я сдержу пред ним.
Слово дал, не жди другого, не нарушу это слово.
Буду ждать, хотя сурова пытка дней, что суждена.
Коль умру, пусть похоронит, и свое: «Увы» обронит.
Если жив я, значит, стонет дух, и жизнь уж неверна». С той поры я и доныне все одна в моей кручине.
Солнце было на вершине, и сокрылось там в горах.
Вся исполнена отравы, увлажняю грустью травы.
Дух безумья — дух лукавый. Я забыта смертью в днях.
Камень есть в краях Китая. Надпись там на нем такая:
«Кто не ищет друга, — злая жизнь его, — себе он враг». Но зачем бродить по странам? Кто, как роза, был румяным,
Ныне желтым стал шафраном. В путь к нему, — и всяких благ». Витязь молвил: «Осуждая, что бранил его тогда я.
Ты права. Но глянь, какая также в этом боль моя.
Раб любви к рабу другому я бежал, уйдя из дому,
Как олень, тая истому, до ручья стремился я.

Только он был сердцу нужен. С той, в ком нежный свет жемчужин
С хрусталем, рубином дружен, был я счастлив без конца.
И не мог быть с ней счастливым. Скрылся в беге торопливом.
Богоравных тем порывом оскорбил, пронзил сердца.
Царь, кому я сын приемный, от кого мой свет заемный,
Перед ним я вероломный, бросил в старости его.
В самом сердце окровавлен, беглецом он там оставлен.
Божий гнев здесь будет явлен. Ждать ли доброго чего?
В том, сестра, и тоскованье, что усердные скитанья
Привели не на свиданье. А спешил я день и ночь.
К свету шел — и нет мне света. Он ушел — и там он где-то.
Сердце лаской не согрето. Скорбь не в силах превозмочь.
Но уж больше нет досуга словом тешить здесь друг друга.
Что ж, еще одна услуга: поищу и поброжу.
Иль найду я побратима, или сам умру — и мимо.
Знать судьба неотвратима. Что я богу сам скажу?»
Так сказал он, скорбно-строгий, и пошел своей дорогой.
Миновал он скат отлогий. За скалой прошел поток.
Тростниками — до равнины. Ветр такой, что в ветре льдины.
Заморозились рубины. Упрекал он в этом рок.
И вздыхает он все чаще. «Бог всеильный, бог всезрящий.
В чем же грех, меня чернящий? Разлучен с друзьями я.
Для чего сюда заманен? О двоих я мыслью ранен.
Сколь мой рок непостоянен. Да погибнет жизнь моя.
Друг мне прямо в сердце кинул роз пригоршню, — иглы вдвинул.
Эту клятву он низринул. С ним я ныне разделен.
Если с другом я судьбою разлучен, я с мукой злою.
Друг иной передо мною обещен, посрамлен».
Молвил: «Это прямо диво: грусть и в умном говорлива.
Ну чего ронять со срыва слез тот брызжущий ручей?
А не будет ли виднее, поразмыслить, и скорее
В путь к тому, чей стан стройнее, чем взнесенье камышей?
Вот, обрызганный слезами, витязь кличет. Ищет днями.
Ищет темными ночами. Вновь искать, кричать, чуть свет.
Побродил он там на воле. Лес прошел, и дол, и поле.
И не менее, не боле — трое суток. Вести нет.
И исканье тут не гоже, ни к чему. Он молвит: «Боже!
В чем я грешен? И за что же так тобой наказан я?
Боже, боже, эта пытка превзошла размер избытка.

Буквы огненного свитка — мне ли? Правый ты судья». Бледный витязь-привиденье говорил свои реченья, И взошел на возвышенье. На равнине тень и свет. В камышах там, у густого у куста, он вороного Видит. «Он там. Никакого здесь сомненья больше нет». Радость в витязе блеснула, сто в нем раз переплеснула. Сердце витязя скакнуло и притихло в тот же час. Роза — в красном сне богатом. Блеск стал блеск, агат — агатом. Мчится, ветром стал подъятым, не сводя горящих глаз. Таризля увидал он, как не думал, не гадал он. Лик был смертно бледен, впал он. Зачарованней, чем ночь. Воротник — весь лоскутками. Головою — кровь ручьями. Смотрит тусклыми глазами. Он шагнул из мира прочь. Справа — лев лежал сраженный, меч, весь кровью обагренный. Слева, с шкурой испещренной, труп пантеры, бездыхан. Сам он, призраком могильным, слезы током льет обильным. В нем пожар огнем всеильным сердце жжет, и дик, и рьян. Взор задернулся, туманен. К смерти близкий, лик тот странен. Видно, в сердце юный ранен. Витязь кличет, будит слух. Говорит ему о встрече. И припал к нему на плечи. И напрасно нудит к речи. Брат являет братский дух. У объятого тоскою слезы стер своей рукою. Сел с ним. Речью огневою будит брата своего. «Сердце, что ль, в тебе остыло? Иль не знаешь Автандила?» Говорит о том, что было. Неподвижен взор его. Было все — как повествую. Вот смягчил тоску он злую. Душу чувствует живую. К Автандилу — долгий вздох. И признал, и обнимает. Брата братски он лобзает. Мир других таких не знает, — мне живой свидетель бог. «Брат», — сказал он, — «что, в чем клялся, что сдержать я обещался, Я сдержал, — не отлучался. А теперь, в томленье дней, Ты оставь меня с тоскою. Буду биться головою. Как умру, покрой землею, тело скрой ты от зверей». Витязь молвит: «В чем страданье? Злого хочешь ты деянья. Кто любил, тот знал сгоранье, схвачен огненной волной. Среди людей ты исключенье. Уклоняясь от мученья, Мысля самоубиенье, взят ты, что ли, сатаной? Мыслишь — лучше, станет — хуже. Мудрый — дрожь не множит в стуже. Муж? Прилична стойкость в муже, и как можно реже плачь.

Раз печаль идет волною, крепостною будь стеною.
Кто в несчастьи, — он виною. Наша мысль для нас палач.
Мудрый ты, а изречения мудрых ввергнул в небрежение.
В чем есть мудрость, в чем свершение? Тосковать среди зверей?
Помираешь из-за милой, — а себя сокрыл могилой.
Будто слаб, — когда ты с силой. Раной тешишься своей.
Кто ж любил, не зная сгорания, ярких пламеней касанья,
Кто о ком-нибудь терзанья не прошел, в огне часов?
Молви словом достоверным: что здесь было беспримерным?
Не лети же легковым. Роз не встретишь без шипов.
Молвят розе, в час цветенья: «Почему с шипами рденье,
И прекрасной находенье не свершится без беды?»
Роза дать ответ умела: «Сладость — с горьким, с духом — тело.
Коль любовь подешевела, то — сушеные плоды».
Если так цветок бездушный мыслит, мудрости — послушный,
Где же ты прием радушный встретишь сердцу без борьбы?
Жатву радости без горя, в мире с дьяволом не споря,
Не сберешь ты. В приговоре наших дней — устав судьбы.
Слушай, что тебе скажу я: на коня — и не тоскуя,
В путь иди, с тобой пойду я. Не веди свою межу, —
Лишь свою, с своим советом. Скорбь дана нам здешним светом.
Верь, что прав я в слове этом. А уж лести не скажу».
Таризель сказал: «Немею, брат мой. С той тоской моею,
Вряд ли дать ответ сумею. Обезумленный, я глух.
Видит так твое сужденье, что легко терпеть мученье.
Ныне — смерти приближенье. Вот уж я почти потух.
Да, конец земному краю. И о ней я умоляю.
С нею здесь не встречусь, знаю. Но любовного огня
Свет живет. Здесь — разделение, там — восторг соединения.
Да приходит погребенье. Бросьте землю на меня.
Как любимую любимый не увидит через дымы?
Мы в ином соединимы. К ней светло пойду туда.
Встречу, встретит. В миг свиданья будет сладостным рыданье.
Против слова увещанья, сердца слушайся всегда.
Вот мое постановление: смерти чую приближенье.
Умираю, нет сомненья. Что тебе до мертвеца?
Коль в живых мне оставаться, нужно с разумом расстаться.
Птицы к душам вверх стремятся, — так и тело ждет конца.
Что сказал ты, речи друга понимать мне нет досуга.

Полн душевного недуга, вижу смерть, она близка.
Жизнь лишь беглое мгновенье. К миру только отвращенье.
Мне с землей соединенье. В ночь ведет моя тоска.
Мудрый! В чем есть мудрость эта? От безумца ждать ли света?
Сам будь полон я совета, твой совет бы взял, не лгу.
Роза — в солнце. Солнце тает, — роза в грусти увядает.
Друг меня да покидает. Уходи. Уж не могу».
Автандил к нему с другою речью доброй и живою.
«Нет, клянусь я головою. Делать этого нельзя.
В том не лучшее свершенье — пожелать уничтоженья».
Но напрасны убежденья. Слово падает, скользя.
Наконец сказал: «Прекрасно. Если речь моя напрасна,
Если внемлешь безучастно, что ж мне слово длить сейчас.
Смерти хочешь? Без ошибки смерть придет.
Мгновенья зыбки. Вянут розы и улыбки. Вянь». Блеснул слезою глаз.
«Лишь одно мое моленье ты сверши. Есть где-то рденье
Розы, — есть агатов мленье, — от всего укрылся я.
Поспешил, всего лишился. И с царем я разлучился.
От меня ты отделился. В чем же радость есть моя?
Не отвергни же сурово, а мое исполни слово:
Раз еще тебя я снова пусть увижу на коне.
Ты души был, ворожащим, похитителем блестящим.
Не уйду же я грустящим. В этом будь послушен мне».
«На коня!» И для моленья уж не нужно повторенья.
Знал он сердцем без сомненья: не дружна с конем печаль.
Тот тростник до конской шеи склонит лик, — и веселее.
Радость в той была затее. Уж не рвутся стоны в даль.
Молвил грустный: «Я поеду. Дай коня». В душе победу
Чует тот. Идет по следу. Помогает сесть в седло.
Он его не нудит ныне. Едут вместе по равнине.
Гибок стройный. И в кручине стало легче и светло .
Говорит. И блещут зубы. И коралловые губы
Знают речи, что не грубы, а уходят прямо в слух.
Стал бы юным тут и старый, слыша слово в свете чары.
И смиряются пожары. И не так печален дух.
Есть гашиш и для печали. Розы бледно увядали, —
Видит витязь, ярче стали. Радость — зелье для ума,
Для безумья — жалоб вздохи. Ну, дела не так уж плохи.
Были разума лишь крохи, а теперь светлеет тьма.

И гуторят эти двое. Молвит слово он прямое:
«Изъясни мне, что такое на руке там на твоей.
Это нежной той запястье, кем ты ранен? Что ж в нем счастье.
Над тобою полновластье? Расскажи, — потом убей».
Молвит тот: «В чем есть сравненье несравненного виденья?
В этом жизнь, восторг, мученье. Это лучше мне, чем мир.
Что земля, вода, деревья! Что людские все кочевья!
В этом скрыта чара девья. Только с этим сердцу пир».
Тот сказал: «Я мыслил верно. Ты ответил беспримерно.
Но и я уж достоверно льстить не стану пред тобой.
Бросить так Аснат — злосчастье больше, если то запястье
Потерять. Быть без участия — выбор худший, не худой.
То запястье золотое драгоценщик сделал в зное,
И остыло неживое, и бездушна в нем игра.
Для Аснат — отъединенье. Вот так верное сужденье.
Но с твоей в ней есть сплетенье. И она твоя сестра.
Связь меж нею и златою, для кого была слугою.
Чрез нее и та с тобою, а прекрасна и она.
Между ними единенье. Что же, ей лишь небрежение?
Ну, шабаш. Твое сужденье — глубина совсем без дна».
Тот ответил: «Справедливо. Речь твоя вполне правдива.
Жаль Аснат. Без перерыва скорбь. Душой она с Нэстан.
И меня все зрит такого. Жить уж я не думал снова.
Ты терзанья огневого боль смягчил, но все — туман».
Но, Аснат вспоминая, едет к ней. И речь живая
Между братьями — как стая птиц в час утренней поры.
Как скажу им восхваленья? Зубы — жемчуг, губы — рденье.
И змея, оцепененье сбросив, смотрит из норы.
Витязь молвит: «Для тебя я, ум и сердце раскрывая,
С ними душу отдавая, всем пожертвовать готов.
Но не будем трогать рану. И указывать не стану,
Что подобен клад обману, если спрятан меж кустов.
Так и мудрость, если ею сам я править не умею.
Скорбен? Все ж тоской своею не обрежь течение дней.
Смерть придет и не обманет. Роза сразу не завянет.
Бог позволит, — солнце глянет, лишь уверуй и посмей».
Грустный молвит: «То ученье сколь достойно разуменья.
Умный любит наставленье. Даже глупый им пронзен.
Но и мудрость светит скудно, если мне чрезмерно трудно,

И тебе ведь с этим нудно. На укор твой удивлен.
Воск с огнем горячим сроден: Светит, — свет тот благороден.
Но с водою он не сходен: в воду пал, и вдруг погас.
Если в ком есть огорченье, он составит заключенье,
Что в другом. Мое горенье мог бы ты понять сейчас.
Все, что было здесь со мною, расскажу тебе, не скрою.
Правосуден будь со мною, поразмыслив обо мне.
Ждал тебя я там сначала. Но пещера раздражала.
В ней простора было мало. Я к равнине на коне.
Тростником мой путь измятым. Пробираюсь этим скатом.
И с пантерой вижу льва там. Любовался ими я.
Лик казался их влюбленным. Сразу стал я восхищенным.
И лотом я был смущенным. Ужаснулась мысль моя.
Здесь на скате, над равниной, были двое те картиной
Двух влюбленных, сон единый. Лев с пантерой был мне мил.
И потом меж них сражение, и борьба, и озлобление.
Он за ней. Того виденья вынести — я не в силах был.
Раньше весело играли. В ссоре бешеными стали.
Лапы резко ударяли. Смерть была им не страшна.
Вдруг в пантере обомленье, словно в женщине смущенье.
Лев погнался. Раздраженья в нем кипучая волна.
Я не мог им любоваться. За любимой так погнаться?
И терзать ее, и драться? Нет, такая удаль — срам.
Меч блеснул мой обнаженный, и копьем он был сраженный.
С головой своей пронзенной, он простился с жизнью там.
Меч я в сторону бросаю. Прыг к пантере, и хватаю, —
Я обнять ее желаю, в честь моей, в ком все — мое.
Но на то движенье веры — рев и когти мне пантеры.
Это было мне — вне меры. Тут убил я и ее.
Я искал пожар тот страстный укротить. Порыв напрасный.
И во мне тут вспыхнул властный гнев. Изранен весь мой лик.
Хвать и в землю. Стихла злая. Вспомнил милую тогда я.
Но душа — во мне. Страдая, разрешил я слез родник.
Видишь, брат мой, что со мною. Как же боль мою укрою?
Жизнь мне бремя. Но судьбою присужден я длить мой час.
Жизни нет, а жизнь все длится. Смерть прийти ко мне боится».
Смолк. И слез поток струится. Сколь печален тот рассказ.

25. Сказ о том, как направились Тариэль и Автандил к пещере и как увидели они Асмат

Видеть это горе было — боль души для Автандила.
Но сказал: «Еще есть сила. Потерпи. Всему есть час.
Милосердье есть у бога, хоть твое страданье строго.
Будь вам разная дорога. Он в любви не свел бы вас.
Кто в любви, с ним злоключенье, в жизни знает огорченье.
Но, узнав сперва мученье, знает после радость он.
У любви свои законы: в смерть ведет, и будит стоны.
Обезумлен ей ученый, — неученый научен».
Так, поплакавши, отбыли. По равнине серость пыли.
До пещеры путь стремили. Встречу им бежит Асмат.
Были слезы, целовались. С плачем нежно обнимались
И вестями обменялись. Верный верных видеть рад.
Говорит Асмат: «Могучий боже! Ты, в ком гром и тучи.
Ты, как солнце, лаской жгучей, нас наполнил, дал нам сил.
Как, хваля, могу с хвалою достохвальной пред тобою
Быть? Стократною слезою ты меня не истребил».
Тариэль сказал, вздыхая: «О, сестра моя! Родная!
Слезы вечно проливая, я скорблю о том же здесь.
Знали радость, — с ней мученье. В том судьбы постановление.
О тебе лишь сожаленья, а не то б я в смерти — весь».
Если жажда мучит злая, кто же здоровый, пить желая,
Брызжет, воду проливая? Слезы льются как ручей,
Если влагу кто иссушит, смерть придет и все разрушит.
Ах, печаль язвит и душит. Нет жемчужины моей».
Также в сердце Автандила вспоминанье больно было.
«О, заря! Златая сила! Без тебя живой ли я?
Без тебя и жизнь томленье. Как сказать мои мученья?
И какой тоской горенья сожжена душа моя.
Роза как без солнца станет расцветать и не завянет?
И каким удел наш глянет, если солнце за горой?
Дух во мне единоверца со цветами. Вянет сердце.
Все ж, есть где-то к встрече дверца. Каменей, но будь собой».
Душу вздохом утишили, хоть огонь был в полной силе.
Больше слов не говорили. В том же, сердцем, и Асмат.
Жара также в ней не мало. Шкуру барсову постлала.
Сели. В них печаль устала. И светлее говорят.

Хорошо бы хлеба-соли. Да в такой живут тут доле, —
Хлеба нет, а мяса боле, и поменее гостей.
Таризеля угощают. Тело пищи не вмещает.
Пожевал кусок, — бросает. И конец трапезе всей.
Нет отрады в слове спора, — есть уютность разговора.
Сердце с сердцем может скоро сговориться в час любой.
Вот в беседе много чары. Замолкают тут пожары.
И судьбы сносней удары в миге радости живой.
Эту ночь те львы, герои, говорили про былое.
День пришел, — беседа вдвое многословна и полна.
Все друг другу рассказали, что там было в чужедали.
Обещанья подтверждали, клятва вновь меж них дана.
Таризель сказал: «Словами не расскажешь, что меж нами.
Долг отдам свой лишь с годами, бог порука, даст мне сил.
Клятва клятву держит туго. Не забыть в разлуке друга.
Это высшая услуга, — тут не пьяный говорил.
А теперь прошу правдиво, ты сдержи полет порыва:
Здесь не трут и не огниво, это пламя ты не тронь.
Для тебя — твое горенье, тут закон миротворенья.
Так иди до места рденья, — где твой солнечный огонь.
Излечить меня уж трудно и ему, кем многочудно
Создан мир, где свет нескудно, щедро царствует над тьмой.
Разумел я тоже что-то до минуты поворота.
Вот безумье, вот забота. Ныне бред — мой часовой».
Автандил сказал: «Какого ждать ответа, если слово
Полно разума живого? Ты как мудрый говорил.
Но оспаривать я стану, что нельзя такую рану
Залечить. Всему изъяну есть конец. Жди в боге сил.
Для чего б, вас создавая, вас любовью обвивая,
Бог вас, вечно разлучая, обезумил, в смерть гоня?
Путь любви есть путь по бедам. Здесь тоска крадется следом.
Но восторг вам будет ведом, — а не то убей меня.
В чем же гордость человека? В чем он муж, а не калека?
Боль терпеть, хоть век из века, и не гнаться с гнетом зол.
Труден мир, да бог подмога. Научись же хоть немного.
Знание верная дорога. Не идет ей лишь осел.
Так скажу тебе, дерзая. Слушай, будет речь какая.
Мне позволила золотая отлучиться. Молвил ей:
«С сердцем я испепеленным. С ним я — помыслом бездонным.

Что ж здесь буду огорченным? Только грусть — душе твоей.
В этом слов пусть будет мало». И она мне отвечала:
«Дружба дружбу увенчала. Этим я не огорчусь».
И пошел я к дальним странам. Был не хмельным я, не пьяным.
Что ж теперь? Вернусь с обманом? Покажусь пред ней как трус?
Делай это — размышляя. Роза вянет, — засыхая.
Польза в ней себе какая? А другой ей будет рад.
Сам себе что сделать можешь? Только сердце растревожишь.
А захочешь, мне поможешь. С братом братски будет брат.
Где ты быть ни пожелаешь, там и будь себе как знаешь: —
Мудро сердце, — отдыхаешь. Ум безумен, — закипай.
Но в тиши и в боли крика сохраняй ты стройность лика.
Не растрать всю силу дико, и гори, но не сгорай.
Чтоб добиться нашей цели, чтобы весть принести веселий,
Год прошу с одной неделей. Я вернусь в цветенье роз.
И сюда в пещеру это ликование снов и цвета
Донесет огонь привета. Вздогнешь. Чу, залаял пес.
Превзойду ли меру срока, ты же будешь одиноко
Ждать меня, — в том воля рока, это значит — умер я.
Это будет указанье, что захочешь, — для рыданья.
Или бросься в ликование. Как захочет мысль твоя.
Может быть, бужу печали? Ты — один, я в чужедали.
Корабли ведь изменяли. Конь споткнется на скаку.
Как узнать, где ждет потеря? Нет чутья, нет глаза зверя.
Бог решит. И в бога веря, я вступаю здесь в реку».
Он промолвил: «Продолжение слов — одно лишь утомленье.
Для чего тут рассужденья? Нет вниманья, смысла нет.
Если друг не за тобою, ты иди его стопою.
И в конце, — что скрыто тьмою, станет явным, видя свет».
А когда все будет явно, и увидишь ты подавно,
Как здесь трудность своенравна, хоть блуждай иль не блуждай.
Я снесу безумья бремя, хоть стучит мне молот в темя.
Но, коль смерть придет в то время, как скажу тебе: «Прощай!»
Завершилось говоренье. Клятвы — снова повторенье.
И в равнину их стремленье. Каждый стрелы взял и лук.
Настреляли там дичины. Но в сердцах туман кручины.
Уж остался день единый. Завтра — врозь, и больше мук.
Ты, что с словом песнопений по тропе идешь мучений, —
Как быть сердцу в миге рдений, коль без сердца сердце то?

Если сердцу — весть разлуки, это нож, он режет руки, —
В смерть уводят эти звуки. А без пытки был ли кто?
Утро, бледными лучами, застаёт двоих с конями.
Дева с ними. И слезами взор блеснул, бежит ручей.
В смутных ликах цвет жасмина. Их зовет к себе равнина.
Эти львы, чье горе львино, поспешают в мир зверей.
Покидают путь пещерный. Крик печали — звук безмерный.
А Асма, сестры их верной, плачет жалоба вдвойне:
«Кто вам плакальщицей будет? Львы! Вас песня не забудет.
Солнце — звезды гасит, нудит быть во тьме. О, горе, мне!»
Так скорбит она в печали. Вот «Прости!» они сказали.
Вместе к морю путь держали. Побережье — вот оно.
Вновь проводят время ночи. Делят пламя. Ночь короче.
О разлуке плачут очи. Все скорбеть им суждено.
К Таризлю Автандила таковое слово было:
«Слезы сохнут. Грудь остыла. Не пойму я, почему
Так Фридон тобою оставлен. К солнцу путь там будет явлен.
Будет мною он восславлен. Покажи тропу к нему».
Таризль без промедленья указывает направление.
«Там Фридон», — его реченье. — «Все иди ты на Восток.
Вплоть до берега морского. Коль увидишь дорогого,
Так вот брата — ласки слово. Помнит брат, хотя далек».
Вот козла они убили. Как поешь, так будешь в силе.
За собою потащили. Разложили там костер.
И поели, сколь возможно. Было древо страж дорожный.
У корней их сон тревожный. Груб, судьба, твой приговор.
Вот заря горит жемчужно. Встали. Им расстаться нужно.
Сердце с сердцем плачет дружно. Что слова, когда — уж путь.
Как слова перекликались! Как они там обнимались!
Долго, тесно прижимались, у разлучных, с грудью грудь.
Были вздохи сожаленья, лиц ногтями пораненья.
И уж розно их стремленье, тот назад, а тот вперед.
Проезжают тростниками. Достают пока глазами,
Кличут скорбно голосами. Ах, тут солнце станет лед.

26. Сказ о том, как отправился Автандил к Фридону, когда он встретил его в Мульгхазанзари

Мир прискорбный. Рок бессонный. Что ты крутишься, взметенный?
Чем ты вечно огорченный? Кто уверует в тебя,
Тот, как я, поймет мученья. Стой! Куда ты мчишь стремленье?
Вырвешь, вырастив, растение. Все ж нас видит бог, любя.
Автандил, в скорбях разлуки, воздымает к небу руки.
Вопль его исполнен муки. «Кровь лилась, бежит опять.
Так же трудно расставанье, как и в небе нам свиданье.
Меж сердцами отстоянье. Сердцу сердце не понять».
Плачет. Звери полевые жадно слезы пьют живые.
Он не в силах огневые пытки сердца превозмочь.
Тинатин в его печали. Скорби душу укачали.
Розы губ кристалл встречали. День печальному как ночь.
И коралл его тускнеет. Роза вянет и темнеет.
Как лазурный камень млеет то, что было как рубин.
Путь уходит, сер и пылен. Смертный страх над ним бессилен.
Молвит: «Мрак кругом могилен. Гаснет солнце средь равнин».
Молвит к Солнцу: «Лик прекрасный. Тинатин ты образ ясной.
Оба мир счастливить властны. По лугам струите свет.
Я в безумии туманном, и с упорством непрерывным
Взором — с ликом тем желанным. Что ж я вами не согрет?
Солнца нет, — зима как в дыме. Я ж с двумя расстался ими.
Так печалью какими полон дух, придя на срыв?
Не страдают только скалы. Я же весь в тоске усталой.
Нож не лечит раны алой, причиняет лишь нарыв».
И до неба восклицая, к Солнцу вопли обращая,
Кличет: «Солнце! Власть живая! Ты, кем светит каждый край,
Ты, в лучах непобедимый возноситель и хвалимый,
Дай мне быть с моей любимой, день мой в ночь не обращай.
Ты, Зуаль, звезда томленья, дай мне слез и дай мученья,
Черной тенью огорченья сердце скорбное закрой.
Грусть пусть ляжет, с грудой груда, точно тяжесть на верблюда.
Но скажи к моей отсюда: «Не покинь его. Он твой».
О, Муштхар, ты правосудный, ты благой судья, хоть трудный,
Так приди же в час мой судный, сердце с сердцем рассуди.
Не теснименя узором, круто свитым приговором.
Не удвой удар, которым я уж ранен ей в груди.

О, Марикх, планета мщенья, ты копьем без сожаленья
Пронидай меня, чтоб, рденье крови зная, был я ал.
Как терзаем я скорбями, Расскажи, скажи словами,
Чтобы знала, как, ночами, знаешь ты, каким я стал.
Аспироз, звезда леченья, дай немного облегченья.
Я в нещадное горенье ввергнут ею и судьбой.
Ты сияешь прихотливо, и тобой она красива.
Я же, брошенный у срыва, обезумлен здесь тобой.
Отарид, планета знанья, лишь с тобой, через терзанье,
Схож я: с Солнцем нам сиянье и раздельность; ты горишь,
Я горю. В огне вращения запиши мои мученья.
Вот чернила — слез течение, вот перо — в росе камыш.
Свет высокий благородства, и с тобой, Луна, есть сходство:
Солнца чуя превосходство, я меняюсь средь пустынь.
То я весел, ярко око, то хуюю одиноко. Молви ей:
«Не будь жестока. Весь — к тебе он. Не покинь».
Глянй на звезды, есть в них зренье. В Семизвездьи — подтверждение.
В Отариде, в Солнце — мленье, и Муштхар, Зуаль — в огне.
И тоскуют надо мною Аспироз, Марикх с Луною.
Взят я огненной волною. Без нее пожар во мне».
Молвит к сердцу он: «В кручине не убью себя я ныне,
Ясно, с дьяволом в пустыне побратался. Знаю сам,
Та, чьи косы, та, чьи очи — крылья ворона и ночи,
Ум безумит мой. Но в мочи вынести боль — путь к счастью нам.
Коль стерплю всех пыток груди, к ней я, к солнечному чуду,
Возвращусь. Не вечно ж буду я стонать. Душа жива».
И запел он светлогласно, хоть сдержат тоску — напрасно.
Так звучала песнь прекрасно — соловей пред ним сова.
Витязь пел. И, слыша пенье, звери, в чаре удивленья,
Приходили. С негой мленья, камни встали из волны.
И дивились, и внимали. Плакал, — плакали в печали.
Песню грустную качали волны, тихие как сны.
Всем живым напевы милы. В песне чара тонкой силы.
Вон морские крокодилы, рыбы, звери без конца.
Птицы ветра как в тумане. И индийцы, персияне,
Руссы, франки, еиптяне, все пришли на зов певца.

27. Сказ о том, как прибыл Автандил к Фридону, когда он расстался с Тариэлем

Витязь, чувствуя истому, к побережию морскому
Дней уж семьдесят, как к дому, направляет бег коня.
Там вдали, где в пене море, моряки в его просторе.
Кличет он с огнем во взоре: «Кто научит здесь меня?
Кто вы? Это чьи владенья?» Говорят, явив почтение:
«О, прекрасное виденье. Ты, приятно-странный сон.
Взор твой светлая зарница. Глянем, гаснем, ум темница.
Здесь Турецкая граница. Рядом — царствует Фридон.
Если чувств мы не лишимся, на тебя смотря, потщимся
Дать ответ. Мы здесь гордимся тем, что царь наш — лик чудес.
Смелый, щедрый и могучий, на коне наездник жгучий,
НурадинФридон — горячий свет с далеких нам небес».
Витязь молвит: «Благодать я повстречал здесь с вами, братья.
Он мне нужен. Где искать я должен вашего царя?
Как долга к нему дорога? Укажите, ради бога».
В них пришла ему подмога. Провожают, говоря.
«Это путь в Мульгхазанзари. Там, в своей блестящей чаре
Он, чей меч горит в ударе, чья стрела свистит, летя.
Десять дней пути отсюда. Но, рубиновое чудо,
Кипарисный, ты откуда? Ты сжигаешь нас, блестя».
Витязь молвит: «Это греза в вас макая-то. Мороза
Вкус узнавши, разве роза может радовать вас так?
Вот когда мы без печали приходящих привечали,
Это верно, засвечали светлым взглядом ночь и мрак».
Погуторили немного. И один. И путь-дорога.
Где-то встреча? Свод чертога? Строен он, и сердце — сталь.
Конский толот мчит, мелькая. Вслух он мыслит, вздыхая.
Из нарциссов дождь, стекая, моет влагою хрусталь.
Повстречаются чужие, — вот они уж с ним родные,
Говорят, склоняя выи. В нем им радость и уют.
С ним дорога изумрудна. Он им светит многочудно.
И расстаться с ним так трудно. Провожатого дают.
Он уж близко, он у цели. Там равнина на пределе.
В круге воины глядели, замыкая луг кольцом.
Луки с силой натягают. Стрелы зверя настигают.
Столько дичи убивают, словно косят хлеб кругом.

Вот ему навстречу кто-то. Вопросает: «Чья охота?
Топот, шум, людей без счета». И ответ ему: «Фридон,
Властелин Мульгхазанзара — на охоте, полон жара.
Звери ждут его удара, завлеченные в загон».
Он ликует. Без сравненья, он чарует, он виденье.
Как вложу я в песнопенье тонкостенную красу?
Кто посмотрит, — озарится. Мерзнет, — если отлучится.
Всякий с ним возобновится, как весенний куст в лесу.
В средоточьи, где облава, вдруг орел взлетел. Лукаво
Глянул витязь, мыслит: «Слава!» Лук направил он сейчас.
«Не паду лицом здесь в пыль я». Сбит орел. Разъяты крылья.
Скок с коня. И без усилья срезал их не торопясь.
Вновь в седле сидит он, стройный. Круг стрелков тут беспокойный,
Прекратив стрельбу, прибойной поспешил к нему волной.
Разомкнулася облава. Эти слева, эти справа.
Мыслят: «Кто он? Величаво светит взор. Он кто такой?»
На лугу был холм высокий, и Фридон там светлоокий.
Свиты круг глядит широкий, сорок лучших там стрелков.
Автандил туда стремится. Ток толпы за ним струится.
И Фридон, сердясь, дивится. «Что в рядах моих полков?»
Шлет раба с таким реченьем: «Что объяло их смятеньем?
Словно взяты ослепленьем, почему идут сюда?»
Быстро раб туда приходит. Видит — диво. Глаз не сводит.
Ум его в забвеньи бродит. Он ослеп. Пред ним звезда.
Автандил его заметил, и к нему со словом, светел,
Обратился и приветил: «Вот владыке доложи.
Чужеземец одинокий, из страны пришел далекой.
Тариэль прислал высокий. Побратим его, скажи».
Раб Фридону слово это говорит: «Там пламя света.
Солнце там, деятель лета. Тут впадет и мудрый в бред.
Весь похож он на картину. Как помыслию, прямо стыну.
Он к Фридону Нурадину. Тариэля с ним привет».
Услыхать о Тариэле рад Фридон. И заблестели
Слезы. Скорби просветлели. Сердце бьется. Меньше мглы.
Роза чует ветер с юга, но от век стремится вьюга.
Вот приветствуют друг друга. Одному в другом хвалы.
Нурадин с холма спустился. Витязь тут уж очутился.
И Фридон, смотря, дивился. «Коль не солнце, кто же ты?»
То, что молвил о победном раб в хвале, все было бледным.

Полны чувством заповедным, слезы льют, смешав мечты.
Обнялись. И без опаски расточает сердце ласки.
Два звена в одной завязке. Ум впадет, их видя, в блажь.
Смерть мне, если в этой чаре, или ныне, или встари,
Блеск подобный на базаре купишь ты или продашь.
Где есть витязи-герои, как Фридон в лучистом зное?
Но еще ценней алоэ и достойнее хвалы.
Светлым сном горят планеты, — солнце гасит эти светы.
Свечи дымкою одеты днем, и светят лишь средь мглы.
На коней и до чертога их ведет теперь дорога.
Уж зверей убито много. И охоты больше нет.
И дружины громоздятся Автандилом любоваться.
«С чем бы мог живым сравняться этот дивный солнцесвет?»
Он к Фридону молвит слово: «Знаю, полон ты живого
Любопытства, — из какого края я, — и как я брат Тариэля.
Побратимы с ним мы. Он сказал, любимый:
«Брат!» — и мы неразлучимы. Я ему рабом быть рад.
Ростэван мой царь. Сановный, я в Арабии верховной
Вождь дружин средь них — их кровный. Называюсь Автандил.
Из семьи я благородной, и возвращен царем, как сродный
С властью, смелый и свободный. Кто меня бы оскорбил?
Как-то раз, когда охота уж кончалась, видим кто-то
Горько плачет, в нем забота. Это плакал Тариэль.
Мы смущались, царь дивился. Звали, к нам он не явился.
Царь чрезмерно рассердился. Как нам знать, что в нем метель?
Царь велел своим дружинам взять его. Но с гневом львиным
Вмиг, порывом он единым, ранил тех, а тех убил.
Размахнулся не напрасно. Лишь тогда нам стало ясно,
Что удерживать невластно месяц в шествии светил.
Царь был в гневе превеликом. Сам поехал с смелым ликом,
Чтоб схватиться в бое диком. Тариэль, признав сейчас
Царский сан, влагает в ножны меч, и бой стал невозможный.
Конь не конь, а дух тревожный, — скок, и скрылся он из глаз.
Мы искали, мы глядели. Это дьявол, в самом деле?
И следа не усмотрели. Царь забыл пиры и сон.
Так он крепко огорчился. Я — искать, и тайно скрылся.
За разгадкой устремился. Был я пламенем зажжен.
Мне искать была свобода, — три искал я долгих года.
Это случая угода, что кхатавов увидал.

Так его нашел кода-то. Вижу — роза, желтовата.
И взлюбил меня как брата. И ему как сын я стал.
После битв, где кровь без меры изливал он в сумрак серый,
Взял у дэви он пещеры. Ходит там за ним Асмат.
Старый там очаг дымится. Пламя скорби вечно длится.
Кто с прекрасным разлучится, обвяжись тот в черный плат.
И в пещере той глубокой дева в скорби одинокой.
Дичь стреляет львиноокий. Лев накормит львят своих.
Он блуждает непрестанно. Так душа его туманна, —
Только с ней побыть желанно. Он не терпит лиц людских.
Рассказал он мне, чужому, всю сердечную истому.
Он как брату мне родному дивный сказ любви явил.
Речь того, кто сумасшедший, не расскажет происшедший
Ужас весь, тот мрак нисшедший, мысль о той, в ком власть могил.
Месяц бродит неизменно. В сердце горе бьется пленно.
На коне твоём бессменно ездит он и не сойдет.
Говорящих сторонится, от людей как зверь стремится.
Больно мне о нём томиться. В нём о ней какой же гнет.
Мысль о витязе том странном жжет терзаньем постоянным.
И о нём скорбя, желанном, потерял я разум сам.
В сердце бешеное горе. Даль прошел, проплыл я море.
И к таящим грусть во взоре возвратился я царям.
Я просил соизволенья длить исканья и стремленья.
Впал властитель в раздраженье. Тайно я бежал тогда.
И войска мои в печали «Горе! Горе!» восклицали.
Вот, ищу бальзама в дали. И гляжу туда, сюда.
Он сказал мне, как вы стали с братом брат в его печали.
Я пришел к тебе из дали, несравненного нашел.
Я иду за солнцесветом, и, твоим ведом советом,
Буду счастлив в деле этом. Где искать скончанья зол?»
И Фридон тут держит слово. Говорит про дорогого
Брата. Оба плачут снова, нет терпения в сердцах.
И достойная хваленья грусть их словно песнопенья.
Розы в росах окропленья затерялись в тростниках.
И при виде той кручины вопль идет в рядах дружины.
Не остался ни единый равнодушным в этот час.
Семилетняя разлука для Фридона стон и мука.
Как стрела летит из лука, — свет блеснет и свет погас.
Говорит Фридон: «Любимый! Видишь? Плачут побратимы.

Ты в словах невыразимый. Весь ты солнце на земле.
Солнца с неба ты хититель, близких всех твоих живитель,
Звезд грустящих озаритель, свет единственный во мгле.
Чуть расстаться нужно было, жизнь мне сделалась постыла.
Мыслить мне о том не мило, что живешь ты врозь со мной.
Мне же только огорченье, без тебя все дни томленье,
Мир, внушая отвращенье, для меня лишь дом пустой».
За печалью долгодневной, он, Фридон, тот вздох плачевный
Вылил в жалобе напевной. Стих. Покой кругом глубок.
С цветом воздуха — для взора, Автандил — краса узора.
На чернильные озера лег агатный потолок.
Светит взор, хотя загашен. В град вступают. Разукрашен.
Там дворец средь стройных башен. Все в порядке. Всюду лад.
И рабы стоят рядами, безупречные, как в храме.
Каждый зоркими глазами Автандила видеть рад.
Вот они вступили в зданье. Превеликое собрание.
Не простое заседание. Сто сановных с двух сторон.
В стороне сидят те двое, лучезарные герои.
Их рубин — тепло живое. Их кристалл — сияет он.
Начинают пированье. Умножают ликование.
Лучших здравниц пожеланья. Льется светлое вино.
Автандила угощают, в нем родного привечают.
В тех, что здоровье возглашают, сердце юным сожжено.
Этот день они сидели и без счета пили-ели.
Захмелеть тут в самом деле даже пьяницы могли.
И заря горит в кристале. Автандила искупали.
В пояс пышный наряжали и шелками облекли.
Витязь полон нетерпенья. Все ж усладам развлечение
Должен дать он дней течение. На охоту ходит он.
Разны игры и забавы. Как стрелок, он полон славы.
Кто вступал с ним в спор неправый, в достижениях посрамлен.
Витязь молвит до Фридона: «Быть с тобою — оборона.
Разлучиться — горечь стога, смерть. Но трудно дольше ждать.
Есть другой огонь, он строго жжет меня, зовет дорога.
И в душе моей тревога, — ведь могу и опоздать.
От тебя уйти — мученье. Но сегодня — отлученье.
Оттого иное жженье, — с ним сейчас мои мечты.
Медлить путнику опасно, — пусть поймет он это ясно.
Укажи, где солнце красно у волны увидел ты».

Тот ответил: «Без сомненья ты не встретишь затрудненья
От меня. В тебе пронзенье, вдаль зовущего, копья.
Бог с тобой. Иди, прекрасный. Враг да сгинет твой, не властный.
Но скажи мне, витязь ясный, без тебя как буду я?
Но скорбеть теперь бесплодно. Лишь одно скажу свободно:
Одному идти негодно. Дам тебе я верных слуг.
Меч, доспехи, мул и кони, — с ними будешь в обороне.
Меж сподвижников, в их лоне, свергнешь трудности вокруг».
Вот воители, четыре. С верным сердцем. В целом мире
Путь проложат, дальше, шире. Будут в латах до конца.
Красным блеском светит золото. Снарядил Фридон богато
В путь, и дал он без возврата — огневого жеребца.
Для постели не убогой повезет все, крепконогий,
Мул далекою дорогой. Провожает в путь Фридон.
В тех, что мига ждут разлуки, загорелся пламень муки.
От Фридона — жалоб звуки: «Если б здесь был светлый он».
Грустный слух идет умами. Торговать ли тут шелками,
Или сочными плодами? Горожанки все толпой
Сгромоздились. Тоскованье, сожаленья и рыданья.
Громы в воздухе, стенанья. «Где он, солнце, день золотой?»
Вот и город миновали. Шум волны в приморской дали.
Автандил с Фридоном стали там, где видел солнце он.
Там из слезного затона кровь течет под звуки стона.
Повесть слышится Фридона, как планетный лик пленен.
«Солнце, чьи так белы зубы, чьи — рубиновые губы,
Двое черных, дики, грубы, выводили на песок.
На коне летел из дали, чтоб сразить их силой стали.
Увидали, побежали, быстрой птицей был челнок».
Тем рассказом дух волнуем. Путь в нем к новым слезным струям.
Приникают с поцелуем, обнимает брата брат.
Скрепой слиты неразлучной, все ж расстались в миг докучный.
Мысль и мысль — в тоске созвучной. Стройный витязь — ранит взгляд.

28. Сказ о том, как отбыл Автандил от Фридона, дабы отыскивать Нэстан-Дарэджан

Полный месяц, отбывая, витязь думает, вздыхая.
В сердце бьется мысль живая о прекрасной Тинатин.

Молвит: «Как судьба жестока. Я один, и ты далеко.
Но бальзам, по воле рока, дан тобой среди кручин.
Почему всегда герои в тосковании и в зное?
Как скала, мое живое сердце бьется со скалой.
Три копыта — пронзенье злое — в сердце мне вошли, как в бое.
Не даешь мне быть в покое, мой дурман с отравной мглой».

Витязь с четырьмя рабами, над прибрежными волнами,
Держит путь прямой песками. Таризлю где бальзам?
День ли, ночь ли, все едино, ищет. Жизнь его — кручина.
Что весь мир ему? Мякина, и не больше, в мире том.
Где бы путников не встретил, вопрошает, чуть приветил,
Где тот блеск, чей луч так светел. Путь в сто дней — томлений ряд.
Видит холм, на нем верблюжий караван с поклажей дюжей,
И купцы, в тоске досужей, нерешительно стоят.
Караван тот бесконечный — с виду вовсе не беспечный.
Каждый в нем — с тоской сердечной, рад вперед, а вот стоит.
Витязь словом привечает, и его хвала встречает.
«Вы купцы?» — он вопрошает. «Вы откуда?» — говорит.
Мудрый муж, с лицом румяным, главный был над караваном.
Звался он Усам, и станом он до юного склоняясь,
Говорит благословенья: «Солнце, наше утешенье.
Ты с коня хоть на мгновенье ниспустишь, обрадуй нас».

Сделал так. Им в том отрада. Что ж не сделать, если надо.
«Мы торговцы из Багдада. Мухамед у нас пророк.
Вина новые не пьем мы. В град царя морей идем мы.
Караван с добром ведем мы. Наш товар не лоскуток.
Привело сюда скитанье. Человек здесь без сознания
На песке лежал. Старанья приложили мы к нему.
Помогли. Стал снова в силе. И его мы спросили:
«Кто?» — сказал. — «Таких насилий не покличу ни к кому.
Из Египта с караваном мы поплыли к новым странам.
Вдруг пираты. Бьют тараном. С кораблем стряслась беда.
Зацепляют нас баграми. Убивают нас мечами.
Я не знаю, как волнами был я выброшен сюда».

Лев и солнце, оттого-то наше горе и забота
Коль назад, так в чем работа? Нам убытки во сто крат.
«А поедем мы волнами, вдруг беда стрясется с нами.
Как нам быть, не знаем сами. Путь — вперед или назад?»

Молвит: «Числить нет нам смысла нам неведомые числа.

Коль с высот беда нависла, не сотрешь ее приход.
Смелость быть должна в основе. Биться мне с врагом не внове.
Кто захочет вашей крови, кровь его мой меч прольет».
Все, что были в караване, и томились как в тумане,
Стали веселы. «В изъяне с этим смелым быть ли нам?
Мы трусливы, а в герое сердце вовсе не такое».
Манит поле их морское. И поплыли по волнам.
Мчит корабль их ходом рьяным. Веселятся днем румяным.
Автандил им атаманом. Смелый быть велит смелей.
Вон корабль. На нем пираты. Длиннен вымпел их разъятый.
И таран грозит рогатый, для разлома кораблей.
Ближе, ближе завопили. Кличут, в трубы протрубили.
В страхе все торговцы были пред воинственной толпой.
Витязь молвит: «Те пожары мы лишим их страшной чары.
Всех сразят мои удары, или час здесь смертный мой.
Что написано, свершится. Вся земля пусть ополчится.
Рок решит и не случится злосключения никогда.
А решит, вот копыа ныне. Не помогут тут твердыни,
Ни друзья, хотя б в дружине. Знай, и будешь смел всегда.
Вы купцы, народ несмелый, в деле битвы неумелый.
Полетят от них к вам стрелы — уходите-ка за дверь.
Посмотрите, как единым здесь я встану исполином,
Волю дав размахам лвиным, кровь их всех пролью теперь».
Быстрый барс, надел он латы. По броне огонь богатый.
С тяжелой палицей подъятой, перед вражьем кораблем,
Он стоит неустрашимый, в смелой мощи несравнимый.
Взором витязя крушимый, враг сражен его мечом.
Вот спешат всем вражьем станом, возопили гласом пьяным.
И хотят метнуть тараном. Вот таран приблизил рог.
Он проворным взором кинул. Тяжкой палицею ринул.
И таран сломил, содвинул. Лвиной хваткой подстерег.
Метко. Где таран рогатый? Вот он с палицей подъятой.
Враг бежать, трепещет смятый. Он молотит как цепом.
Вынул меч, мечом их рубит. Каждый взмах их страх сугубит.
Здесь никто уж не затрубит. Все иссечены кругом.
Как козлиное их стадо. Смерть пирует. Так и надо.
Их ли будет здесь засада? Трупы мечет в море он.
Одного он о другого, и седьмого о восьмого.
Те, кто жив, меж мертвых — крова ищут, сдавливают стон.

Все как ждал. Герою ведом достоверный путь к победам.
Тот, другой кровавым следом, подползет, — в его ногах
С умолением жалким взгляда. «Не убей!» — зовут. — «Пощада!»
Благовестье вспомнить надо: «До любви приводит страх».
Человек, своею силой не хвались: вмиг будешь хилый
И спознаешься с могилой, коль помочь не хочет бог.
Искра вспыхнет — и в пожары лес облекся. И удары,
Если с богом, будут яры, — тут чурбан не будет плох.
Автандил бросает взгляды. В корабле он видит клады.
Караван зовет, и рады тем сокровищам купцы.
И Усам развеселился. Перед юным преклонился.
Так в хвалах он изловчился, что из слов он сплел венцы.
Для хвалений Автандила быть должна такая сила,
Что и тысячи бы было недовольно языков.
Караван вскричал: «Создатель! Солнца ты ниспосылатель!
В нем сияний нам деятель. Вышли к дню мы, бросив ров».
Если витязь, в схватках славных, среди деяний своенравных
Превзошел своих же равных, сколь прекрасен этот вид.
Поздравляют. Он — взнесенный. Вид у прочих пристыженный.
Ранен он. С рукой пронзенной. Но не очень там болит.
Так, низвергнуты пираты. Их корабль, где клад богатый,
Он амбар теперь разъятый. Там добыча хороша.
Все богатства изобилии на корабль к себе сносили.
Жгли его, и потопили. Он не стоит ни гроша.
Шлет Усам до Автандила весть: «Гласят купцы: ты сила.
Нас та мощь освободила. Дал ты нам не пасть на дно.
Что имели, в полной чаше все твое. Ты солнца краше.
Что нам дашь, то будет наше. В том составили звено».
Витязь молвит: «Братья, ныне вашей бог помог кручине.
Не дал смерть найти в пучине. Что ж томитесь вы, стена?
Я при чем тут? Не умею ваших слов постичь.
Моею Волей что свершу? Имею лишь себя я и коня.
Мне в сокровищах отрада здесь какая ж? Все, что надо,
Я имел на радость взгляда, — и шелков моих не счесть.
Что же делать мне с дарами, предлагаемыми вами?
Я лишь друг ваш над волнами. Мысль во мне иная есть.
Здесь сокровища несчетны. Выбирайте в час охотный.
Мой подарок — безотчетный. Я не стану вас судить.
Но одно мое желанье сообщу я вам для знанья.

Цель имею для скитанья. Нужно тайну сохранить.
До тех пор, как час настанет, кто ни спросит, кто ни глянет,
Каждый пусть его обманет: главный я среди вас купец.
Я не витязь. Одеваться буду так и торговаться.
Только чур не проболтаться. В братстве тайну скрыть — венец».
Чуть он высказал желанье, между ними ликование.
Молвят: «В этом упованье было наших всех сердец.
Ты сказал, — той самой цели мы в умах своих хотели —
Послужить тебе на деле, солнца лик и образец».
Больше чассвой не теряли, и без горя, без печали,
В путь дальнейший отплывали, с жаждой видеть берега.
Видеть витязя им мило. Им погода ворожила.
Пели песнь про Автандила и дарили жемчуга.
Вкруг него они ликуют. Лик пленительный милуют.
Руки, ноги все целуют. И с него не сводят глаз.
На красивого кто глянет, тут и мудрый глупым станет.
Хор твердить не перестанет: «Из злосчастья спас ты нас».
Витязь молвит: «Божья воля. Как решит, так будет доля.
Что с небесного нам поля снизойдет, то суждено.
Силы высшие наставят. Нужно, — то, что скрыто, явят.
Глупы те, что здесь лукавят. Что идет, прийти должно.
Бог явил вам состраданье, не дозволил излишня
Вашей крови. В том деянье — не мое. Что я? Земля.
Все ж убил врага лихого, и свое сдержал я слово.
Всю добычу вы с чужого принимайте корабля».

29. Сказ от том, как прибыл Автандил в Гуляншаро

Стройный стан и свет во взоре, Автандил проехал море.
Вот и берег. И в просторе — город, тонущий в садах.
Это все очарованье как вложу я в описание?
Сколько разного сиянья в заколдованных цветах.
Все в дыханьи аромата. И к ограде, что богата,
Три тяжелые каната протянули свой конец.
Стал корабль. И за товаром ходят крючники — не даром.
Витязь — с малым он и старым, точно главный он купец.
И садовник тут из сада, увидав зарницы взгляда,
Поспешил к нему: «Что надо?» Рад служить, склонился весь.

Автандил его сердечно привечает безупречно:
«Чьи вы люди? И конечно, есть и царь над вами здесь?»
Молвит: «Как у вас ведется? Что дороже продается?
Что дешевле отдается? Вот товар, — как быть нам с ним?»
«Солнце с ликом ты красивым», — молвит тот, — «неторопливым
Словом все скажу правдивым, с указанием не кривым.
Край морей зовется это царство, полное расцвета.
Гуляншаро — город света. Гулян-Шахр — тот град Цветов.
Что красиво, все, что в славе, к нам плывет, — и сны здесь в яви.
Царь же наш — Мелик Суркхави, благ, достоин он даров.
Десять месяцев в просторе корабли из моря в море
К нам сюда. Здесь в дружном хоре — игры, песни, пир и пляс.
Зиму, так же как и лето, здесь цветы в огнях расцвета
Старый юн здесь. Знают это и враги, глядя на нас.
Кто сноровист, покупает, продает, глядишь, теряет,
Изловчился, наживает. Не сидим мы тут без дел.
Здесь товар не залежится. Покупатель не скупится.
Даже бедному случится — в месяц, в год разбогател.
У Усена полноправный я садовник. Сам он главный
Из купцов. Хозяин славный. И устав его таков.
Этот сад — здесь отдыхают, и товары выставляют.
Что ценней, ему являют из заветных сундуков,
Те купцы, что покрупнее, дар ему, и не жалея,
Поднесут — и веселее станет вмиг, — торгуй любой.
Для царя товар богатый, наилучший, — тотчас платой
Он покрыт. И тароватый, сразу торг обмыслит свой.
Он встречает с неизменной лаской, если кто почтенный
Прибыл. Здесь бы бесспорно был, да нет его в дому.
А не то б иные речи, он бы рад был этой встрече.
Ну да это недалече. Помощь есть у нас всему.
Фатма Хатун здесь, супруга. В ней любезность и услуга.
Встретит ласково, как друга. Будешь в доме как в своем.
К ней дорога не окольна. Встретит гостя хлебосольно.
Там всего у нас довольно. Город видеть нужно днем».
Молвит витязь, с лаской взгляда: «Сделай так, как сделать надо».
И бежать тому — отрада. До груди струится пот.
Он к владычице стремится. «Ну, могу я похвалиться.
Там такой, что не приснится. Юный глянет — свет блеснет.
Караван ведет торговый. С речью ласковой, медовой.

Кипарис он, месяц новый. Тот коралловый тюрбан.
Как идет к нему. Как стройно он стоит. Спросил спокойно:
«Как устроить все достойно? В чем обычай этих стран?»
Фатъма в радостях безмерных. Посылает десять верных.
И для выставок примерных вот он, караван-сарай.
И приходит розощекий, тот агатно-светлоокий.
Лев он поступью широкой. Ноги барса. Примечай.
Эта выставка не лавка. Уж какая же там давка.
Не товары брать с прилавка. Юный светит. Он заря.
«Это видеть — хоть до ночи». Души взяты. Смотрят очи.
Что мужья. Их ум короче. С ними быть — томиться зря.

30. Сказ о том, как прибыл Автандил к Фатъме, как приняла она его и как велика была ее радость

Там, где вход и где ограда, Фатъма гостя встретить рада,
На лице ее услада. И Усенова жена,
Говоря привета слово, просит гостя дорогого
Сесть. Увидевши чужого, не соскучилась она.
Фатъма, взоры притягая, хоть не юная, живая,
Круглолица, не сухая, смуглолица притом.
И любительница хоров, выпить между разговоров,
Головных у ней уборов и нарядов полон дом.
Гостя ужинать с ней просит. Метко молвит, метко спросит.
Он подарки ей подносит. Все красивые дары.
И хозяйка ликовала. И сидела, и вставала.
Витязь пил и ел не мало. Спать. Уж час ночной поры.
Утром вынул он товары. В них игранье пышной чары.
Смотрит малый, смотрит старый. И цена всему своя.
Для царя, что поценнее. Нагрузил купцов скорее.
«Продавайте, не робея. Не откройте лишь, кто я».
Как купец он был одетый. Не доспехов светят светы.
Фатъма шлет ему приветы. Навещает Фатъму он.
И сидят, и говорливы. Речи между них учтивы.
А уйдет к себе красивый, ум ее тоской пленен.

31. Сказ о том, как полюбила Фатъма Автандила и как написала она ему послание свое

Лучше, вот слова зарока, быть от женщины далеко.
От игранья и намека быстро к власти перейдет.
Завладеет до пронзенья, и предаст в одно мгновенье.
Слово тайны и значенья, в слух к ней сдерживай полет.
Фатъме сердце страсть пронзила, возжеланье Автандила.
И любви возрастала сила, жгла ее своим огнем.
Скрыть ее она хотела. Скрыть пожар? Пустое дело.
И владычица скорбела. Слезы падали дождем.
«Если я скажу признание, гнев в нем, и прощай свиданье.
Не скажу, — вдвойне терзанье, буду в пламени вокруг.
Нет, скажу я, без сомненья. Смерть иль жизнь, его решение.
Как же врач найдет лечение, коль не знает он недуг?»
И раскрыв свои страданья, пишет юноше посланье.
Очень жалостно писанье, преисполнено тоски.
То посланье образцово. Глянь, не бросишь — будешь снова
Видеть, как любовь сурова, — не порвешь письмо в клочки.

32. Любовное послание Фатъмы к Автандилу

«Солнце! Богу так угодно, чтобы солнцем ты свободно
Лил лучи. Терзанье сродно с тем, кто от тебя вдали.
Кто вблизи, тобой сжигаем. До планет ты восхваляем.
Глянешь, — сердце дышет раем. Увидал тебя, — хвали.
Ты посмотришь, — где угрозы? В сердце свет влюбленной грезы.
Ты красивый стебель розы. Трепетать бы соловью.
Лик твой — цвет садовый ранит. И моя краса здесь вянет.
Если луч твой не достанет, жизнь иссушишь ты мою.
Бог свидетель, с словом-лаской я иду, полна опаской.
Но терпенье стало сказкой, — нет его, и в сердце тьма.
Вечно ль в муках быть повторных — от ресниц, от копий черных
Помоги, без слов укорных, а не то сойду с ума.
До тех пор, пока ответа на мое посланье это
Нет, — не знаю, ждать ли света, ты убьешь иль дашь мне жить, —
Все ж еще я существую, но терплю я пытку злую.
О, часы, когда тоскую! Жизнь иль смерть? Нельзя решить».

Это к витязю признание Фатьма шлет, полна терзанья.
Он читает то посланье как сестры или родной.
«Ей искать меня не стыдно. Сердце ей мое не видно.
И сравнить ее обидно с той, возлюбленною мной.
Разве ворон, пролетая, нужен розе? Здесь живая
Не достанет, воспевая, песнь хваленье соловья.
То, что сделать непристойно, бесполезно и нестройно.
Что за вздор тут пишет знойно! Что за речь, чтоб слышал я
Предаваясь размышленьям, так он думал с осуждением.
И с таким он был решением: «Можешь мне лишь ты помочь.
Если, в путь пойдя, ищу я той, кем друг горит, тоскуя,
Чтоб найти, все совершу я. И другие мысли — прочь».
Здесь проходит путь-дорога. Эта женщина здесь много
Видит всяких. У порога путник — ей желанный друг.
Пусть изведаю горенье, — к ней явлю соизволение,
Нить найду в ней для стремленья. Долг ей мой отдам я вдруг».
Молвил: «Женщина, влюбляясь, с милым сердца не стесняясь,
Все расскажет, открываясь. Что ей стыд, и что позор.
Так. Для этого влюбленья дам свое соизволение.
Может, вдруг оповещение проскользнет в наш разговор».
Сам себе слова совета молвил: «Ежели планета
Ворожит, свершится это. Нужно, — нет; не нужно — вот.
Так со мной, и я в тумане. Мир весь в сумеречной ткани.
Чтобы ни было там в жбане, опрокинь, и потечет».

33. Ответное послание Автандила к Фатьме

«Ты писала и хвалила. То прочесть мне было мило.
Ты меня предупредила. Больше я, чем ты, томим.
Хочешь ты. Мое хотенье также в пламенах горенья.
Решено соединенье, если оба так хотим».
Чуть письмо дошло до взгляда Фатьмы, вся она услада.
И ему ответить рада: «Слезы я лила в тиши.
Будет. Я жива тобою. Я вечернею порою
Буду ждать тебя душою. Буду я одна. Спешу».
Вот и ночь идет немая. Витязь в путь. Его встречая,
Раб другой — и весть другая: «Нет, сегодня я не жду.
Для тебя я не готова». Он читает это слово.

Все ж идет, сказав сурово: «Это что же все — в бреду?».
За отменой приглашенья он пришел. Полна смущенья
Фатъма там. Ее волненье ясно видит Автандил.
Беспокойна, облик странный. Но, чтоб быть ему желанной,
Прячет страх свой, точно жданный он сюда свой лик явил.
Начинают целоваться, играм нежным предаваться.
Вдруг, — как может это случиться? — стройный юноша в дверях.
Раб за ним, и меч рукою, крепко держит щит другою.
«Здесь я встретился с горою», — молвит юный, чуя страх.
Увидал он Автандила. Покидает Фатъму сила.
Обомлела. Было мило обниматься, а теперь?
Гость сказал: «Пришел не к стати. Не прерву твоих объятий.
Но уж завтра час проклятий ты с зарей узнаешь, верь.
Ты меня здесь в миг свиданья предаешь на посмеянье.
Отплачу за то деянье. Будешь собственных детей
Есть своими ты зубами. Так свершу. Иль — не словами —
Плюнь мне в бороду плевками, — пусть бешусь среди полей».
Тут тряхнул он бородою, сжав ее своей рукою.
Вышел. Биться головою Фатъма в скорби начала.
Лик ногтями разрывает. Кровь со щек как ключ стекает.
«Камень! Камень!» — восклицает. — «Чтоб толпа убийц пришла».
И скорбит, и возопила: «Вот, супруга я убила.
Малых деток погубила. Разметала я как сор
Наши пышные владенья, драгоценные каменья.
Мне самой уничтоженье. И слова мои позор».
Витязь эти восклицанья слышит, слушает рыданья.
«В чем причина тоскованья?» — вопрошает, сам смущен.
«Успокойся, молви слово. Что в тебе нашел он злого?
Почему грозил сурово? И зачем бродил здесь он?»
Говорит она, стеная: «Лев! От плача без ума я. Что скажу?
Минута злая. Вот, застигла, жизнь губя.
Я детей моей рукою умертвила. За тобою
Погналась в любви душой, и убила тем себя.
Непременно так случится с тем, кто тайной тяготится,
Болтовней разоблачится, в суесловьи видит мед.
Всем теперь скажу с рыданьем: «Помоги мне тоскованьем».
Что тем делать с врачеваньем, кто свою же кровь испьет?
Здесь не два, одно лишь слово. Ничего не жди другого.
Можешь, так того лихого, ночью, тотчас же убей.

Весь мой дом от погубленья, и меня от убиенья
Ты спасешь. В час возвращенья скорби смысл скажу моей.
Если ж нет, не ожидая кары, весь товар слагая
На ослов, спеши из края, — твой побег сокроет тьма.
Так он это не оставит. При дворе меня ославит.
Предо мной детей поставит, чтоб я съела их сама». —
Слыша те воскликновенья, гордый, полон дерзновенья,
Витязь встал свершить решенья. Твердый жезл в руке его.
Как он смел, и как прекрасен. «Смысл всего теперь мне ясен». —
В миге схватки он ужасен, не похож ни на кого.
И его до Фатьмы слово: «Дай кого-нибудь такого,
Чтоб средь сумрака ночного показал дорогу мне.
Лишь дошли бы верно ноги, там не нужно мне подмоги.
Расскажу, как были строги эти руки, мстя вдвойне». —
С ним раба она послала. Будет вырвано то жало.
И во след ему кричала: «Головня сгорит когда,
Вспомни час, как огонь дордеет, жечь меня уж не посмеет, —
Он кольцо мое имеет, — принеси его сюда». —
Автандил с огнем во взоре вышел за город, где море.
Там вздымался на просторе изумрудно-рдяный дом.
Там в покоех, радость часа, всюду пышность и прикраса.
Над террасою терраса. И велик его объем.
Автандил, туда ведомый, видит пышные хоромы.
Он, в душе лелея громы, слышит шепот: «Это — тут.
На террасе там стоит он. Ночью там лежит и спит он.
А пред тем в мечтах сидит он, сокращая бег минут». —
Где сплелась лихая пряжи для злосчастного, два стража
Перед дверью спят. И даже не шурша, он в быстрый срок
Там. Беззвучная походка. Та, другая сжата глотка,
Стиснул головы он четко. Мозг и волосы — в комок.

34. Сказ о том, как умертвил Автандил Шах-Нагира и двух его стражей

Он лежал в своем покое, юный, с сердцем в гневном зное.
Как видение ночное, вдруг, кровавый, перед ним
Автандил, без промедленья, встать не дав ни на мгновенье,
Хвать, и кончено свершенье, вмиг убил ножом своим.
Солнце он для всех глядящих зверь врагам и ужас в чашах.

Палец с перстнем, весь в блестящих самоцветах срезал он.
Поднял сильными руками труп. В окно. Лежи с песками.
Море будет бить волнами. Не в могиле погребен.
Звука не было в той схватке. Витязь вышел без оглядки.
Ах, цветы у розы сладки. Что в нем вспыхнуло огнем?
То откуда озлобленье? Это прямо удивленье.
Как свершил он убиенье, вышел тем же он путем.
Лев, умильно говорящий, витязь, солнцем здесь горящий,
К Фатьме в дом приходит спящий. Говорит: «Не жив уж он.
Раб твой в этом поклянется. Свет пред юным не зажжется.
Палец с перстнем вот. И льется кровь с ножа, он обагрен.
Дай теперь мне изъясненье слов своих и возмущенья.
Чем грозил он? Нетерпенье говорит через меня».
И обняв его колени, Фатьма молвит: «Лик свершений!
Больше нет моих мучений. Ныне выйду из огня.
Не возникнет путь к изменам. Я теперь с моим Усеном
И с детьми, не смята пленом, не погибну в жалкий час.
Льва хвалить, все будет мало. Кровь пролив, ты вырвал жало.
Все поведаю с начала. Слушай долгий мой рассказ.

35. Сказ Фатьмы к Автандилу о Нэстан-Дарэджан

Есть у нас обыкновенье, в этом граде в день рожденья
Года нового — забвенье всяких дел, торговли нет.
В путь никто не выезжает. Всяк себя да украшает.
И владыки назначают пышный царственный обед.
Мы идем, народ торговый, ко двору, для встречи новой,
Поднести дары готовы и принять их от царей.
Девять дней звучат кимвалы, тамбурины. Старый, малый.
В мяч играют. Праздник алый. Копья, смех и бег коней.
Муж, Усен мой, над купцами, я над женами, и сами
Все мы знаем, тешась днями, всей согласною толпой.
Те, что бедны и богаты, дар царице, к ней в палаты.
И, весельем все объаты, возвращаемся домой.
Новый год — в лучах денницы. Мы с дарами до царицы.
И она своей сторицей дар дает богатый нам.
Послужили и не служим. Веселимся, а не тужим.
Все друг с дружкой, а не с мужем, забавляемся мы там.

Вечер. Вышла я до сада. Жен купеческих мне надо
Занимать. И нам услада — в пеньи радостных певцов.
Было песен там немало. Как ребенок, я плясала.
Цвет волос я изменяла, облеклась в другой покров.
Были там в саду чертоги, и возвышены и многи.
Стоя в каждом на пороге, можно море созерцать.
И из окон видно море, в голубом его просторе.
Там в веселом разговоре вся в пирушке наша рать.
Все себя там веселили. Пир наш длился в полной силе.
Вдруг, когда мы ели-пили, без причины млею я.
Увидав недомоганье, эти сестры ликования
Распростились. И молчанье. В сердце сажа — как струя.
В сердце грусть свой мрак внедрила. Вот окно я отворила.
И тоски растущей сила отошла, дышать могу.
Что-то малое, мелькая, зверь ли, птица ли морская,
В море бьется, достигая края волн на берегу.
То, что в дали, с влагой ходкой, было птицей, вблизи четкой
На побережье стало лодкой. Черных два по сторонам
Человека. Лица черны. Вид внимательно-дозорный.
Женский лик меж них, в узорной ткани. Видно все глазам.
Изнутри я наблюдала. Лодка к берегу пристала,
Против сада. Против вала переменный быстрый бег.
Вышли, смотрят, вражья сила их нигде не сторожила.
Все безгласно как могила. Спит и зверь, и человек.
Ларь из лодки вынимали. Крышку бережно снимали.
И в красивейшей печали вышла дева как в мечте.
Изумрудно облаченье. Черной ткани затененье
Вкруг лица. Зари явление не сравнится в красоте.
Дева лик свой повернула, молний щек ко мне блеснула,
Светом в небо заглянула, в светах тихая гроза.
Я завесой дверь прикрыла, и меня не видно было.
Так лучей горела сила, — я прищурила глаза.
Четырех рабов зову я. Наказав, им говорю я:
«Красоту красот ворую, что индийцы держат здесь?
Тихо, быстро доходите. Не бегите, а скользите.
Продадут, тогда купите. Вот вам клад, отдайте весь.
Если ж нет, их не жалеите. Взять ее, а их убейте.
Сделать ловко все сумеите. Чтоб сюда прийти с луной».
И невольники скользили. Начат торг, не уступили.

Были черные не в силе. Лик у них был очень злой.
Я с высокого предела из окна на них глядела.
Вижу все. Кричу им: «Смело! Смерть им!» Вмиг, средь тишины,
Прочь им головы, по плечи. В море, там иные речи.
И к красавице до встречи. С нею вместе от волны.
Эти чары, упоенье, как вложу я в восхваленья?
Где найду я ей сравненья? Солнце — солнце лишь для глаз.
А она и в сердце, светом, разожженным и согретым,
Солнцем, в пламенах одетым, солнцесветла каждый час».
Фатьма лик свой рвет ногтями. Слезы витязя — ручьями.
Лишь о ней полны мечтами, что безумным дорога.
Вот, друг другом позабыты. С ней, далекой, мысли свиты.
Слезы глаз их вновь излиты на нежнейшие снега.
Так наплакались, что больно. Автандил сказал:
«Довольно. Продолжай». И Фатьме вольно длить сказание свое.
«Все ей дать, казалось мало. Всю ее я целовала.
Утомила, обнимала. Полюбила я ее.
Говорю ей, вопрошая: «Из какого рода, края?
Солнцесветлость золотая. Как до черных тех рабов
Ты от гроздей звезд спустилась? Посмотрела, омрачилась
И ни слова. Только лилось, слезных, сто из глаз ручьев.
За вопросом я с вопросом. Счета нет нежнейшим росам.
По агатовым откосам из нарциссов льется ток.
И рубины влагой мочит, хрустали продленьем точит.
Ничего сказать не хочет. Я сгорела. Хоть намек.
Вот промолвила, вздыхая: «Ты мне мать. Ты мать родная.
Что б сказать тебе могла я? В чем бесплодный мой рассказ?
Сказка в долгий час ненастья. Ты являешь мне участие,
Но всевышний мне злосчастье умножает каждый час».
Я подумала: «Не время отягчать страданий бремя.
Муки сердца — злое племя. Обезуметь можно так.
Я не вовремя пытаю. Солнце спрашивать, златую
Ту денницу молодую — мучить мне нельзя никак.
Этот свет необычайный отвожу в покой я тайный.
И в тоске по ней, в бескрайной, упадаю сердцем ниц.
И в парчу ее одели. Не в худое, в самом деле».
Плачет. Розы помертвели. Снежный вихрь летит с ресниц.
Солнцеликое алоэ в тайном скрыла я покое.
Существо туда живое не входило. Тишина.

Отделенность. Только верный черный раб, слуга примерный.
Я, чтоб быть в том достоверной, к ней входила лишь одна.
Не смогу изображенья дать тебе ее томленья,
Все причуды поведенья. Плачет, плачет день и ночь.
«Так нельзя, — скажу, — томиться». На минуту подчинится.
Как же так могло случиться, что она исчезла прочь?
Скрылось солнце почему же? Было хуже все и хуже.
Слезы там скоплялись в луже, где она склоняла лик.
В черной бездне там агаты. Острия ресниц разъяты.
И над жемчугом гранаты, и коралл, и сердолик.
Только слезы то и дело. В скорби не было предела.
Расспросить я не успела, кто она, и в чем беда.
Лишь спрошу, трепещет в зное, кровь струится из алоэ.
Сердце может ли людское снести такую боль когда.
На постели не лежала. Ей не нужно одеяло.
Только шалью лик скрывала. Был один на ней покров.
И подушкой тяготится, прямо на руку ложится.
Очень редко согласится съесть хоть пять, хоть шесть кусков.
Нужно мне сказать вначале о воздушной этой шали.
Здесь мы кое-что видали, но такого никогда.
Вещество мне неизвестно. Мягкость тонкая чудесна.
Но состав так сложен тесно, точно скована руда.
Так прекрасную скрывала. И прошло уж дней немало.
Мужу я не доверяла. Разболтает, негодяй.
При дворе он все расскажет, руки-ноги этим свяжет.
Если путь ко мне покажет, и сокровище прощай.
Мне приходится таиться. Часто нужно отлучиться.
Я на что ж должна решиться? Размышляю я с собой.
Отчего скорбит сердечно? И скрываться можно ль вечно?
Муж узнает, — он, конечно, будет мой убийца злой.
Как скрывать уединеньем солнце с пламенным гореньем?
Как помочь ее мученьям? Должен быть оповещен
Муж мой. В чем же тут измена? Клятву я возьму с Усена.
Слово чести ведь не пена. Клятв ломать не будет он.
К моему иду супругу. Ласков, нежны мы друг к другу.
Говорю: «Яви услугу. Что-то я тебе скажу.
Но клянись мне чрезвычайно, что сохранной будет тайна.
Клятвы речь не краснобайна: «Пусть как колос на межу, —
На скалу с высот паду я. Хоть бы смерть пришла, связуя,

Этой тайны не скажу я — и ни другу, ни врагу».
Мой Усен добросердечный. Стала тотчас я беспечной.
«Свет тебе я безупречный покажу, что берегу».
Встал, пошел, и мы в чертоге. И застыл он на пороге,
Подкосились даже ноги, как увидел солнце он.
Молвит: «Что ты мне явила? В ней какая светит сила?
Если б речь моя сравнила блеск с землей, я осужден».
Молвлю: «Вот и я, не зная, из какого это края,
Дух иль женщина земная, все томлюсь. Нам знать пора.
Если вид наш не наскучит, кто ее безумьем мучит,
Пусть расскажет, пусть научит, да пребудет к нам добра».
Мы вошли к ней осторожно. Были скромны, как возможно.
И уважили неложно. «Солнце, ты нас здесь сожгла.
Чем твоим помочь нам ранам? Месяц бледный с тонким станом,
Стала в грусти ты шафраном, а рубиновой была».
Но не слушает, не слышит. Роза сжалась, только дышит.
Змеи врозь она колышет. Отвернулся пышный сад.
Тени шествуют в зеленом. Солнце, в сумраке спаленном,
Затемняется драконом, не роняет зорный взгляд.
Уговаривали тщетно. Та пантера безответна.
В гневе, — это нам заметно, а причины никакой.
Мы все то же и сначала. Ничего не отвечала.
«Я не знаю, — лишь сказала. — Дайте мне побыть одной».
Так мы с нею там сидели. Уговаривать нет цели.
И напрасно там скорбели. Как душа тут быть должна?
Мы лишь кротко прошептали: «Будь спокойна, без печали».
Ей плодов каких-то дали, но не стала есть она.
Говорит Усен: «Кручины — не одна, а их дружины. —
Все ушли: тот лик единый все их стер. Волшебный вид.
Солнце этих щек достойно. Человеку непристойно
Их лобзать. Кто видел, — знойно он в сто двадцать раз горит.
Коль милее дети глазу, да сразит господь их сразу».
Верь не верь душой рассказу, были взяты в сеть сердца.
Мы стонали, мы шептались. Этим видом услаждались.
Чуть от дел освобождались, к ней, и смотрим без конца.
День прошел, и сумрак сходит. Ночь ушла, и день приходит.
Речь со мной Усен заводит: «Повидать хочу царя.
Как решишь ты в деле этом, — дар хочу снести с приветом».
«В этом, — молвлю, — с божьим светом. Ты пойдешь к нему не зря».

Жемчуг ценный, прямо чудо, с самоцветами, на блюдо
Он кладет, идет отсюда. До него веду я речь:
«Ко двору твоя дорога. Встретишь пьяных, там их много.
Смерть мне! Клятву помнишь строго?». Молвил: «Так, как рубит меч».
За столом царя застал он. Дружен с ним, и пировал он.
«Благодетель, — восклицал он. — Дар прими, ты свет сердец».
Тот его с собой сажает: вид даров восторг внушает.
Глянь теперь, какой бывает во хмелю своем купец.
Пред Усеном царь был пьяным. И стакан там за стаканом
Влив в себя в усердьи рьяном, он и клятвы влил во мглу.
А уж ежели кто пьяный, что там Мекки и кораны.
Не уважат розу в раны и нейдут рога к ослу.
Как напился он не в шутку и сказал: «Прощай» рассудку.
Царь промолвил прибаутку: «Ты откуда дар такой
К нам несешь? Как исполины — жемчуг твой, твои рубины.
Нищи тут и властелины, поклянуся головой».
Воздаст Усен почтение: «Царь, ты наше озаренье.
Живы лишь тобой творенья. Подкрепитель наших сил.
Что тебе не поднесу я, клады, золото даруя,
Все тебе лишь возвращу я, — от тебя же получил.
Да скажу, из дерзновенья: кстати ль тут благодаренья?
Вот невесту, восхищенье, дам я сыну твоему.
Это будет дар богатый. Он достойнее отплаты.
И не раз вздохнешь тогда ты. «Превратил ты солнце в тьму».
Что мне длить повествованье? Клятву, власть ее влиянья,
Он нарушил и сиянье девы той вложил он в сказ.
Царь явил благоволение. Отдает он повеленье.
Чтоб волшебное виденье до него пришло сейчас.
Я сижу спокойно дома. Что есть вздох, мне незнакомо.
Вдруг, как звук нежданный грома, вождь рабов пришел царя.
Шестьдесят, по положенью. Предаюсь я удивленью.
Мыслю: «Все ж их появленью есть причина, то не зря».
«Фатьма, — молвят мне с приветом. — Солнце хочет, в миге этом
Видеть ту, что ярким светом здесь двусолнечна. Ее
Должен взять сейчас с собою». Свод небесный надо мною
Рухнул. Бешенство волною в сердце ринулось мое.
«До сокровища какого вы пришли?» В ответ их слово:
«Мы до лика золотого. Нам сказал о нем Усен».
Я узнала, что им надо. Вижу, кончилась услада.

Отнимают радость взгляда. Вся дрожу я, взята в плен.
Все в душе в свиваньи дыма. К той вхожу, что мной любима.
Молвлю: «Я судьбой гонима. Я совсем истреблена.
Небо в гневе надо мною. Предана я. За тобою
Царь послал. Где свет мой скрою? Прямо в сердце сражена».
Говорит: «Сестра! Такая мне судьба, а не другая.
Уже столько знала зла я, что чего ж дивиться тут?
Так терзаюсь я сурово, и должна терзаться снова.
Ничего не жду благого от течения минут».
Слезы льются. Где им мера? У нее погасла вера.
Встала бодро — как пантера, иль боец, идущий в бой.
Рада ль? Нет, она не рада. Нет и горя в силе взгляда.
Ей прикрыться только надо — просит — белую фатой.
В сердце я моем тоскую. Вот иду я в кладовую.
Там жемчужины, — любую вынь, и купишь целый град.
Ей дарю. Все мыслю — мало. Словно пояс навязала
На нее. А в сердце жало, в черном молнии горят.
Молвлю: «О, моя! Быть может, случай тот тебе поможет.
В это горе пользу вложит». Солнцеравную рабам.
Отдаю. Царю уж ведом миг прибытья. Гулы следом.
Звук литавр как зов к победам. Но она безгласна там.
Любопытные, волною, восхищаются луною.
Даже стражники толпою не владеют. Радость глаз,
Кипарис тот тонкостенный царь, увидя в миг желанный,
Вскликнул: «Лик ты осиянный! С неба как сошла сейчас?»
Так красы ее сверкали, солнцеликой той в вуали,
Что смотревшие мигали. Соизволил царь изречь:
«Видел, — с нею слеп я ныне. Бог велел ей быть в картине.
Прав безумец, коль в пустыне бродит, алчет с нею встреч».
Он ее с собой сажает. Речью сладкой утешает.
«Кто ты? Что ты? — вопрошает. — Из какого рода ты?»
Но сиянье солнцесвета не дает ему ответа.
Нежный лик, но без приветов. Скорбью взятые черты.
С головою наклоненной, не внимала умиленной
Речи царской. К отдаленной дали сердцем унеслась.
Сжаты, розы светят ало. Жемчугов не выявляла.
«Где душа ее блуждала?» — всякий думал в этот час.
Молвил царь: «Что думать надо? В чем теперь для нас отрада?»
Тут возможны два лишь взгляда: иль она кого-нибудь

Любит, — в помыслах с единым, в мыслях он лишь властелином.
С тем любимым по долинам, в мысли, вместе держит путь.
Иль, молчанье сохраняя, здесь провидица немая,
Скорбь ль, радость ли какая, ей не радость, не печаль.
Счастье, горе — лишь зарница, вся и жизнь ей — небылица.
Улетает голубица от всего, что близко, вдаль.
Бог великий, он рассудит. Сын мой юный да прибудет.
Солнце здесь готовым будет для победного него.
Может, выманит реченье. Нам в нем будем изъяснение.
До тех пор луне затмение здесь без солнца своего».
Я скажу, чтоб смысл был ясный: тот царевич, он прекрасный.
Юный, смелый, и в опасной битве мужество свое
Явит точно. Той порою он задержан был войною.
Мнил отец — его женою видеть звездную ее.
Принесли наряд ей новый, благолепные покровы
Вдоль сияющей основы многосветный самоцвет.
А венец горел едино, из сплошного был рубина.
Вся светилась как картина. Лучше этой розы нет.
Царь дает распоряжение, чтоб чертог ее был мленье,
Златокрасное горенье. Где возлечь ей, там — закат.
Этот царь самодержавный той царевне солнцеравной
Зал назначил самый главный. Ослеплен ей каждый взгляд.
Стража там такого рода: девять евнухов у входа.
Пировать царю угода, как прилично для царей.
За златую ту — в замену дивный дар дает Усену.
Трубы кличут через стену и литавры бьют слышней.
Затянулось пированье. Питию нет окончанья.
Солнцедева вскрик стенанья пружестоккой шлет судьбе:
«Ты безжалостна, ты злая. Для кого здесь без ума я?
Что начну я, так сгорая? Погибать ли мне в борьбе?»
И опять она сказала: «Розу смять — в том смысла мало.
Чтобы роза расцветала, неразумно смерть призвать.
Тот, в ком разум зрит высоко, смерть не будет звать до срока.
Напряги в темнотах око, пользы нет в них изнывать».
Кличет стражей: «Вы внимлите, и в рассудок свой войдите.
По неверной здесь вас нити повели, не до судьбы.
В том желанье властелина взять женой меня для сына.
Мнит — уж вот добыча лъвина. Бьют литавры. Зов трубы.
Но не буду вам царицей, будь жених — хоть солнцелиций.

Мне не здесь сиять денницей, путь ведет мой не туда.
О другом скажите слово. От меня вам ждать иного.
Не свершения такого. С вами жить? Да никогда.
Я убью себя, и верно. В сердце нож взойдет примерно.
Царь казнит вас достоверно, и земной ваш краток час.
Лучше вот что предложу я: клад под поясом ношу я.
Клад возьмите, — да бегу я. А не то — беда на вас».
Самоцветы, что скрывала, с жемчугами отдавала.
А чтоб не было им мало, — и рубиновый венец.
И склоняла понемногу: «Дайте мне, молю, дорогу.
Долг заплатите вы богу. Будет легким ваш конец».
У рабов глаза зардели. Клад великий, в самом деле.
Царь? Забыть царя умели. Где там староста? Далеко!
Путь открыли несравненной. Через злато — воля пленной.
Злато — корень, цвет — забвенный, ветка — дьявольский крючок.
Не дает отрады злато. Сердце жадностью объято,
Но в богатстве не богато, и не может не хотеть.
Притекает, утекает, в недовольство повергает,
Гнет на душу налагает — дух не может взлететь.
Совершились договоры, и рабы идут как воры.
Их недолги были сборы. Дал один ей свой покров.
И прошли в другие двери. Главный зал был в полной мере
Предан пьянству. Без потери месяц плыл среди облаков.
И рабы бежали с нею. Вот пред дверью пред моею
Тень. Стучат. И я робею. Имя Фатьмы говорят.
Я иду — и удивленье. Там она как привиденье.
Не идет на приглашенье. У нее тревожный взгляд.
Молвит: «Тем, что даровала, — а богатства там немало, —
Я себя высвобождала, выкупала из цепей.
И к тебе придет награда. Больше быть мне здесь не надо.
Дай коня лишь, — чтоб из ада ускакала поскорей».
Я послушна. Кто послушней? Быстро я иду конюшней.
Конь оседлан. Конь воздушной ветра быстрого в степях.
И она уж не томленье. Вся она есть озаренье.
Солнца с Львом соединенье. Был напрасен труд мой. Ах!
Вот уж снова вечереет. Слух возник, и он густеет.
Чу. Погоня подоспеет. Город в смуте, осажден.
На допросе отвечаю: «Обыщите дом. Не знаю.
Пред царями, коль скрываю, будет долг кровавый мой».

Обыскали все строенья. Нет следов исчезновенья.
Нет ее. Полны смущенья. И в дворце веселья нет.
Все оделись в цвет лиловый. Солнце было, свет наш новый.
Солнце скрылось. Мрак суровый — там, где рдел нам солнца свет.
Я продлю повествованье, где теперь горит сиянье.
Но сначала — указанье, отчего грозил мне тот.
Ах, была его козою, и козлом он был со мною.
Та жена полна виною, что себя не соблюдет.
В муже трусость — безрассудство, а в жене ее беспутство.
Муж мой худ, в лице — паскудство. А красив был Шах-Нагир.
И любились мы в любви, хоть не буду траур вдовый
Я носить. Его бы крови выпить — это был бы пир.
Я как женщина болтала, как глупица рассказала.
Как я солнце здесь скрывала, как она ушла лисой.
Я раскрылась — он был дорог. Стал грозить мне недруг, враг.
О, без всяких оговорок: смерть его — мне быть живой.
Чуть во время разговора между нас возникнет ссора,
Он грозил отмстить мне скоро. Как тебя я позвала,
Я не знала, что он дома. Весть он шлет, — в ней звук мне грома.
В сердце пала мне истома. Я тебя уж не ждала.
Осторожно отгласила. Не хотела — нужно было.
Ты пришел. Мне стало мило, и восторг мне стал знаком.
Оба вы сошлись здесь вместе. Слово гнева, голос чести.
Возжелал он смертной мести, и не только языком.
И не будь убит тобою, весь исполнен мыслью злою
Он бы смерть послал за мною. Полон злобного огня,
Он донес бы, царь бы гневный присудил мне рок плачевный
Съесть детей, и за царевной камнем в ад послал меня.
В боге пусть твоя награда будет пышною, как надо.
От змеиною ты взгляда беззащитную упас.
Уж не правит ныне мною рок с зловещею звездою.
Враг смешался мой с землею. Больше нет змеиных глаз».
Автандил сказал: «Средь праха враг твой. Не ведай страха.
От единого он взмаха прочь из жизни унесен.
Вот и в книге изреченье: злоба друга — очернение.
В ней тягчайшее паденье. Кто разумен, скрытен он.
Это сделано деянье. Бесполезно вспоминанье.
Но продли повествованье про чудесную ее».
Фатъма вновь заговорила. Слез опять текуча сила.

«Солнцеравная, светила. Где же солнце то мое?»

36. Сказ Фатьмы к Автандилу, как взяли Каджи в полон Нэстан-Дарэджан

О судьба, ты вечно злою ложью схожа с сатаною.
Ты измену кроешь мглою, — и ее рассмотрит кто?
Вероломство — во врагине. Солнцесвет где прячешь ныне?
Все здесь — зыбкий прах в пустыне, неустойчиво ничто.
Фатьма молвит: «Солнце скрылось, радость мира удалилась,
Жизнь сама испепелилась, между пальцев разошлась.
И во мне лишь огорченье, неустанно слез течение,
От бессменного мученья — без конца ручей из глаз.
Ненавистны дом и дети. Как одна была на свете.
Чуть засну, дремота в сети завлечет, живу я сном.,
Сны о ней, всей ночью темной. А Усен мне, вероломный,
Чужеверец стал бездомный, с ненавистнейшим лицом.
Жизнь все кажется плачевней. Раз иду я пред харчевней.
Это дом убогих древний. Взор чуть смотрит из-под век.
Вижу, дверь полуоткрыта. Мысль о ней. Душа убита.
Про себя твержу сердито: «В клятве проклят человек».
Изнывает сердце в плаче. Вот приходит раб бродячий.
Три товарища, как клячи, вместе с ним. Покров на них —
Грубый хлопок. Накупили на копейку всякой гнили.
И сидели, ели, пили. Смех меж ними не затих.
Наблюдала я за ними. Вот речами разбитными
Всласть натешились. «Чужими мы сошлись здесь», — говорят.
«Мы не знаем друг о друге, кто в каком кружился круге,
Так расскажем, для услуги, кто что знает, все подряд».
Трое путников вначале рассказали все, что знали.
Учит путь. Есть сказка в дали. Говорил последним раб:
«Братья, вас я не обижу, коль жемчужины нанижу.
Вы мне проса дали, вижу. Мой рассказ не будет слаб.
Раб я царский. Царь прекрасный. Каджи все ему подвластны.
На него недуг опасный вдруг напал, и умер он.
Помощь вдов, сирот подмога, друг всего был, что убого.
Но его сestroю строго был порядок укреплен.
Дулярдухкт была сestroю. Стала всем она горою.

Не обижена судьбою, но обижены ей все.
Два племянника — ей дети. Росан, Родья — дети эти.
А она, как царь в Каджэти. Звать — Могучая в красе.
Слух о смерти за морями шел, дошел, и узнан нами.
Смерть сестры ее. И сами даже визири молчат.
Мыслят: «Знать подвластным вредно, что угас тот лик бесследно.
Рошак — раб. В боях победно он рабов построит ряд».
Рошак молвит: «Быть в кручине — что скитаться мне в пустыне.
Нет, сберу рабов я ныне, и добыча вся — моя.
Буду грабить и, богатым, буду вовремя с возвратом.
С царской скорбью и с закатом вместе быть сумею я».
К нам, любимцам, он с такою речью смелой и прямою:
«Я иду, а вы — за мною». Взял сто избранных рабов.
Днем набег, днем мы грабим. Ночью зоркость не ослабим.
В караванах душам рабьим пышный клад всегда готов.
Кто-то в ночь, равниной дикой, бродит строй наш многоликий.
Вдруг мы видим, свет великий, он идет равниной той.
«Солнце, что ли, заблудилось? С неба к праху опустилось?
В нас смущение явилось, с напряженною мечтой.
Кто твердит: «Звезда дневная». А другие: «Золотая
Там луна». Ряды ровняя, к свету мы идем в тот час.
Видел близко я все это. Пред собою, а не где-то.
Круг сомкнули мы. От света некий голос был до нас.
Словно бисером по нити, слово к слову: «Расскажите,
Как зовут вас? Изъясните, кто вы? Я же весть несу.
Гуляншаро в ясном свете кинув, путь держу в Каджэти».
Круг сомкнули мы как сети, и увидели красу.
На коне была молодая солнцесветлость золотая.
В лике — молнии, блистая, озаряли все кругом.
Чуть что скажет в назиданье, от зубов ее сиянье.
И агат смягчит сверканье под ресницами — там гром.
Мы дивились этой встрече. Были нежны наши речи.
Кудри падали на плечи. То не раб, не вестник был.
То царевна, Рошак видит. Едет рядом, не обидит.
Пусть в наш круг надежный внидет. Он ее не отпустил.
К ней повторно обращение: «Кто ты? Дай нам изъяснение.
Солнцесветлое горенье, ты тропой идешь какой?
Озарительницей ночи». Но у ней лишь плачут очи.
Больно видеть, свыше мочи, месяц, пожраный змеей.

Но ни слова, ни намека, почему так одинока,
Кто обидел так жестоко огорченный лунный диск.
Эта дева, та царица, отвечала срывно, гневно.
То преклонит взор плачевно, то взметет как василиск.
Рошак отдал приказанье: «Прекратите вопрошанья.
Это дело вне познания. Что-то странное есть в ней.
Вот судьба царицы нашей: как напиток в полной чаше.
Что в сравненьи с прочим краше, бог пошлет в подарок ей.
Такова судьба юницы быть подарком для царицы.
Уж она своей сторицей наградит нас. Если ж мы.
От нее сокроем чудо, будет горе нам оттуда.
Наказаний будет груда, и угроза нам тюрьмы».
Все мы в этом — согласились. С вопрошаньем не теснились.
И в Каджэти воротились, а ее вели с собой.
Мы уж ей не докучали. А она была в печали.
Слезы-жемчуг упали нескончаемой струей.
Я к вождю: «Дай разрешение отлучиться на мгновенье.
В Гуляншаро не именье, все же некий есть товар».
Разрешил он отлучиться. Здесь пришлось мне очутиться.
А уж дальше как случится». В сказе было много чар.
Как играющим алмазом, пленена была я сказом.
С каждым словом, с каждым разом, как проскальзывал намек,
Узнавала я приметы и угадывала светы.
Призрак, в пламени одетый, был усладой в быстрый срок.
Тут рабу я повелела, чтоб сказал мне сказ свой смело.
Что из тайного предела услыхала, слышу вновь.
Вся исполнена вниманья для того повествованья.
В угнетеньи тоскованья чую радость и любовь.
Черных двух рабов имела. Колдованье — их дело.
И проворно, и умело невидимкой могут стать.
Я их тотчас призываю и в Каджэти отправляю.
«Через вас о ней да знаю. Чтоб недолго пропадать».
Это им — как радость шуток. Путь свершили в трое суток.
И чрез несколько минуток знаю все о ней от них.
«В путь готовилась царица. С ней высокая денница.
Вся она как огневица. Юный Росан — ей жених.
Таково ее веленье, Дулярдукхт постановление.
«Ныне в сердце огорченье. В сердце пламени огней.
Свадьбу после я устрою. Быть ей Росана женою».

В башне солнце, за стеною. В замке евнух есть при ней.
Путь царицы через море. Но она вернется вскоре.
Путь опасен. Враг с ней в споре. Но с царицей колдуны.
Дома — витязи лихие. Зорки там сторожевые.
Вот пройдет пути морские, и вернется от волны.
Город Каджи — город крупный, для врага он недоступный.
Там внутри есть свод утупный, в самом городе утес.
И пробраться этим сводом путь — лишь выдолбленным ходом.
Там звезда, что дышит медом золотым пьянящих грез.
В круге мощного оплота три проходят поворота,
И у каждого ворота. Десять тысяч стражей там.
По три тысячи у входа, охраняют путь до свода.
Сердце! Мир тебе невзгода. Где конец твоим цепям?
Автандил, что розой дышит, светлый, эту повесть слышит.
Кто восторг его опишет? В нем — лишь радости игра.
Восхваляет сердцем бога: «Довела меня дорога.
Ныне радостного много, чья-то молвила сестра».
К Фатьме молвит: «Дорогая, ты душе моей родная.
Речь твоя была живая. Благодарность ты прими.
Но скажи мне о Каджэти. Ведь бесплотны каджи эти.
Как же могут здесь на свете представляться нам людьми?
К этой деве состраданье я узнал, и весь сгоранье.
Но ведь женщина — создание. Что бесплотным делать с ней?».
Фатьма молвит: «Нет, не джины — эти каджи, но единый
Им оплот — скала, стремнины, где в обрывах нет путей.
Имя каджи лишь прозвание. Ловки в силе колдованья,
И превыше пониманья тесно сплочены всегда.
Невредимые другими, ранят чарами своими.
Кто захочет биться с ними, ослеплен и полн стыда.
Чудеса они свершают, взоры вражьи ослепляют,
Ветры, бури поднимают, топят в море корабли.
По волнению морскому вдруг бегут как по сухому.
Тучу выведут, быть грому. Тьма была, ее зажгли.
По такой-то вот причине, всех живущих в той твердыне
И прозвали каджи ныне. А у них есть кровь и плоть».
Витязь ей благодаренья говорит: «Мое горенье
Ты смягчила. Восхищенья полон я. Велик господь».
Витязь, слезы проливая, говорит: «Господь, живая
Помощь наша. Ты, смягчая наши муки, в этот час

Нас извел из скорби пленной. Ты, творец неизреченный,
Утешитель несравненный, милосердья полн для нас».
Он за то осведомленье воссылает восхваленья.
Фатъма, полная горенья, хочет счастья своего.
Витязь тайну сохраняет, и любить соизволяет,
Фатъма друга обнимает, и целует лик его.
В эту ночь она лежала, Автандила обнимала.
В нем охоты к ласкам мало. Мыслит он о Тинатин.
Ненавистны эти ласки. Тайной полон он опаски.
И в безумии и в сказке сердцем мчится средь равнин.
В Автандиле скрытно горе, но струятся слезы в море,
В черной бездне, на просторе, там агатовый челнок.
Мыслит: «С розой был для милой. Соловей был с звонкой силой.
Здесь же ворон я унылый и над грязью одинок».
Слезы так упорны в силе, — даже камень бы смягчили,
Их агаты запрудили, — пруд средь розовых полей.
Фатъма сердцем веселится, ей желанно усладиться.
Роза — вот, вороне мнится, что ворона соловей.
Светом брезжит день алмазным. Солнце видит луч свой грязным.
За оконченным соблазном искупать спешит себя.
Для него у ней готовы и тюрбаны, и покровы.
«Все, что хочешь, чернобровый. Все отдам тебе, любя».
Автандил сказал: «Предела все достигло. Нынче смело
Лик явлю и молвлю дело». Износил он вид купца.
Будет он вдвойне богатый в красоте, надевши латы.
Лев, к прыжку с земли подъятый, с солнцесветлостью лица,
Фатъма друга проводила. Вновь к обеду Автандила
Ждет. Пришел. И все в нем мило. Этот новый странный вид.
Не в купеческом покрове, люб ей светлый витязь внове.
«Сколь достоин ты любви. Так ты лучше», говорит.
Полон силы, полон света. Фатъме нравится все это.
От него ей нет ответа. Улыбнулся про себя.
«Видно, просто не признала». И она его желала.
Но забылся с ней он мало, хоть влекла его, любя.
Вот поели. С ней простился, и к себе он возвратился.
Он слегка вином упился. Лег и весел он во сне.
В час вечерний — пробужденье. Луч его — в полях горенье.
Шлет он к Фатъме приглашенье: «Я один. Приди ко мне».
Вот она в его покое. Тоскование такое

Слышит витязь: «Тем алоэ я убита в неге грез».
Всю зажженную к томленью, преклонил ее к сиденью.
И ресницы пали тенью на цветник воздушных роз.
Авандил сказал: «С тобою, Фатьма, был я. Что открою,
Этим будешь как змеею ты ужалена сейчас.
Но узнай прямей и проще: есть влиянье нежной мощи.
Я убит агатной рощей, что растет вокруг черных глаз.
Мнишь, что я из каравана главный. Я ж у Ростэвана
У царя за атамана, главный вождь его дружин.
Все войска его за мною людной вмиг пойдут волною.
И над всей его казною я верховный господин.
Знаю я, что друг ты верный, без предательства в примерной
Службе будешь достоверной. Царь имеет дочь одну.
Это солнце, свет медвяный. Ей зажжен я, ею — рьяный.
Ей в иные послан страны. Бросил я мою страну.
Эту деву, что имела здесь, — до крайнего предела
Я ищу, блуждая смело, это солнце между дев.
Будет найдена золотая, в честь того, кто, ей сгорая,
Знает бред, себя теряя, ей сраженный, бледный лев».
Авандил весь сказ зажженный рассказал. В нем был взметенный
Тариэль испепеленный в шкуре барсовой своей.
Молвил Фатьме: «В то мученье ты бальзам прольешь смягченья,
Дашь ресницам тем смиренье, что как ворон близ очей.
Помоги же мне немного. Путь теперь идет отлого.
Пусть им будет в нас подмога. В звездах радость быть должна.
Нам хвала. Мы этой новью будем им живою кровью.
Тем, что связаны любовью, встреча будет суждена.
Пусть колдун твой лик свой явит. Пусть в Каджэти путь направит.
Знать ей все он предоставит, что мы сами знаем здесь.
Эта дева не преминет весть нам дать, свой луч докинёт.
Бог захочет. Горе минет. Каджи край сразим мывесь».
Фатьма молвит: «Богу слава. Иль я ныне в сказке, право?
Так все это величаво, — день с бессмертием сравнен».
Черный знахарь, ворон в цвете, внял приказ: «Иди к Каджэти,
Сам с собой всегда в совете, путь найдешь, хоть долог он.
Превратишь свое ты знанье в чародейное деянье.
Погаси скорей сгоранье. Я устала от огня.
Солнцу явишь излеченье». И в ответ его реченье:
«Завтра точное свершенье. Все узнаешь чрез меня».

37. Послание Фатьмы к Нэстан-Дарэджан

Фатьма так сложила строки: «О, звезда, чьи сны высоки,
Солнце мира. Свет в потоке. Ты, кому грустящих жаль.
Ты, красивая в реченьи. В звучном слове словно в пеньи.
Ты в одном сбединеньи огонь рубина и хрусталь.
Ты мне вести не послала. В сердце грусть была как жало.
Правду все же я узнала. Таризель тобой сожжен.
Он безумен. Утешенье ты пошли из отдаленья.
Да придет к вам единенье. Ты фиалка, роза он.
Побратим его здесь смелый, Автандил, в боях умелый.
Из Арабии в пределы этих мест — он за тобой.
Не оставь его без вести. Он достоин этой чести.
Будем радоваться вместе на ответ премудрый твой.
Раб доставит строки эти. Напиши же нам в ответе,
Что там нового в Каджэти. Каджи все пришли домой?
Сколько всех бойцов, скажи нам. Счет хотим мы знать дружинам.
Кто там стражи, опиши нам. Кто там вождь сторожевой?
Все, что знаешь, то и это, заключи в слова ответа.
Знак желанный для приветов ты любимому пошли.
Все, что знала ты страданье, обратится в ликование.
Тех да будет сочетанье, что друг к другу подошли».
Фатьма строки завершила. Колдуну письмо вручила.
«Той, в ком солнечная сила, ты послание вручишь».
В плащ зеленый, как в горенье изумрудного свеченья,
Он облекся, и в мгновенье улетел превыше крыш.
Камнем, брошенным из сети, долетел он до Каджэти.
Все уж в сумеречном свете утопало в этот час.
Как окутан смутным дымом, он прошел толпой незримым.
Он донес очам любимым свет любовно ждущих глаз.
Чрез замкнутые ворота, будто вдруг их отпер кто-то,
Он прошел — и где забота? Он пред солнечной стоит.
Черный раб и волосатый, был он страшен ей, косматый.
Пал шафран на цвет богатый. Роза в страхе. Грустный вид.
Но ее он, утешая, говорит: «Здесь весть не злая.
Я от Фатьмы, поспешая, приношу тебе привет.
Вот прочти ее посланье. Солнце вновь пусть льет сиянье,
И причин для увяданья у прекрасной розы нет».

Свет красивейших миндалин, взор очей ее печален,
Но опять горит кристален, и дрожит агат ресниц.
Дал ей раб свежей рукою то посланье. И с тоскою
Прочитала. За слезою слезы жарко пали ниц.
Говорит рабу золотая: «Кто узнал, что я живая?
Отыскать меня желая, хочет кто прийти сюда?»
Тот ответил: «Я дерзаю отвечать лишь то, что знаю.
Нет тоске конца, ни краю, с дня, когда ушла звезда.
С сердцем, копьями пронзенным, по ночам, с тех пор бессонным,
Фатма плачет, повторенным током слез поит моря.
О тебе ей весть я прежде приносил. Но путь к надежде
Был закрыт. Усталой вежде лишь теперь зажглась заря.
Витязь смелый и красивый к нам пришел, он цвет над нивой.
О тебе красноречивый слышал полностью рассказ.
Он герой и он целитель, твой он будет избавитель,
Всех обид твоих отмститель, я же вестник в этот час».
Так красивая сказала: «Все здесь правда, лжи здесь мало.
Все же, Фатма как узнала, кто меня умчал сюда?
Верно он, кем зажжена я, помнит, думает, вздыхая.
Напишу. Скажи, как злая здесь томит меня беда».

38. Послание Нэстан-Дарэджан к Фатме

«Солнцеликая, тоскуя, мать моя, тебе пишу я.
Ты достойна поцелуя, лучше ты ко мне, чем мать.
Вот смотри, судьба какая. Я пред ней, главу склоняя,
Как раба. Но весть благая даст мне сил в страданьи ждать.
Упасла от чародеев ты от двух меня злодеев.
Но теперь в гнезде я змеев. Каджи — целая толпа.
Царство целое — мне стража. Ни пойти, ни глянуть даже.
Я бежала — но куда же? Я была тогда слепа.
Что скажу еще в ответе? Я живу как бы в запрете.
Не пришли еще в Каджэти каджи, нет здесь и царя.
Но меня хранят дружины. Все они как исполины.
Не спасись мне от кручины. Не придет ко мне заря.
Ах, искать меня напрасно. Кто идет, горит он страстно.
Им владеет полновластно окружение огня.
Солнце видел он однако. Не живет, как я, средь мрака.

Я ж в местах, где нет ни знака, что спасенье ждет меня.
Раньше я не говорила, как моих терзаний сила
Сердце все мое пронзила. В муке пряталась моей.
Убеждаю, говорю я, о возлюбленном тоскуя,
Не искать меня, молю я. Извести его скорей.
Страшно горе роковое. Да не будет больно вдвое.
Видеть счастье живое, видеть смерть его — увы.
Мне помочь здесь невозможно. Это знаю я неложно.
Воля рока непреложна. Не поднять мне головы.
Просишь знак послать привета. Вот ему отдай же это.
Лоскуток, намек, примета, от подарка от его,
От желанного покровя, он мне здесь как ласки слова.
Утешения другого нет мне здесь, и все мертво».

39. Послание Нэстан-Дарэджан к возлюбленному ее

Плача, с дрожью поцелуя, вздыхая и тоскуя,
Вот любимому пишу я. Кто любимую зажжен,
Кто, простившись с бирюзою, распален в огнях грозою,
Он единственной слезою той любимой освежен.
Слов закончено течение. Кто постигнет их значение,
В сердце примет он пронзенье. Розы дух излился весь.
«О, мой милый! Я писала. И пером мне было жало.
Как чернила, кровь бежала. Закрепилось сердце здесь.
Что есть мир, ты видишь, милый. Весь простерся он могилой.
Самый свет — мне мрак унылый. Я стенаю, здесь, скорбя.
Мудрый видит смысл мирского. Шаткость счастья в нем основа.
Ах, как трудно, как сурово жить, любимый, без тебя.
Милый мой! Ты видишь бремя. Кто-то злой здесь сеял семя.
Перекрученное время между нами как стена.
Нет тебя и всюду дымы. Где твой путь неисследимый?
Сам ты знаешь все, любимый. Только в сердце глянь до дна.
Это горе как я скрою? Сердце порвано тобою.
Без тебя с своей борьбою сердце может ли дышать?
Жив ли ты, ведь я не знала. Тьма кругом не отвечала.
Но напрасно тьма молчала. Ты сорвал ее печать.
Ныне знаю, солнце живо. Силен бог, и я счастлива.
Я смиренная как нива. Грусть светла. Тебя люблю.

Ты живешь — и мне довольно. Сердцу больно и не больно,
Я любовь взрастила вольно. Я любовь мою кормлю.
Милый мой! Рассказ алой длинный. Речью связной и картинной
Расскажу ли путь пустынный, где вела меня судьба?
В Фатме было мне спасенье от волшебного плененья.
Ныне вновь судьбы веленье, чтоб была я как раба.
Рок велел, чтоб в нашей доле горе к горю, боли к боли
Накоплялись, и в неволе мы томились долгий срок.
Беды — рост морского вала. Снова к каджи я попала.
Все, в чем мы узнали жало, присудил нам это — рок.
В замке я сию высоком. Глубины не смеришь оком.
Не проникнешь ненароком, всюду стражи, их не тронь.
Днем и ночью к смене смена. Охраняют путь из плена.
Все пред ними словно пена, — облекают как огонь.
Ты не думай, что такие все они, как и другие.
Я терплю терзанья злые, — да не встречу больше зла.
Если ты с мечом предстанешь, если ты убитым глянешь,
Насмерть ты мне сердце ранишь. Будь же твердым как скала.
Отрекись! Луна золотая все равно твоя, сияя.
Я у самого здесь края скал, — камням себя предаю.
Только верность не нарушу. Брошусь, как волна на сушу,
И, тебе предавши душу, улечу я к небесам.
За меня моли ты бога, чтоб смягчился он немного,
И откроется дорога до желанья моего.
Даст он крылья, полечу я, на пресветлое взгляну я,
Взором жадным утону я в солнце, в золоте его.
Без тебя не будет солнца, ибо ты частица солнца.
Здесь есть светлое оконце. В зодиаке светит Лев.
Там тебя я видеть буду. Там прильну к тебе, как к чуду.
В смерти эту жизнь избуду, и зажгусь тобой, сгорев.
Смерть уж больше не страшна мне, коль в тебе она дана мне,
В сердце я, как в крепком камне заперла мою любовь.
Колебаться я не стану. Но не множь за раной рану.
Если жить я перестану, сердце скорбью не суровь.
Пусть же в Индию дорога поведет тебя. Немного
Сил в отце. Ему подмога будешь ты в борьбе с врагом.
Он грустит, в тоске немея, обо мне. Его, жалея,
Ты утешь. А я здесь, рдея, буду плакать об одном.
Все судьбинны огорченья. Рок пошлет им завершенье.

Правда есть в его решении. Сердце с сердцем — как звено.
Чрез тебя, тобой дышу я. Для тебя в плену умру я.
Но пока еще живу я, о тебе скорбеть дано.
Вот тебе как знак, как слово, лоскуток. Он от покрова,
Что от друга дорогого получила в сладкий час.
О, любимый! Дар желанный — все, что есть мне в скорби странной.
Колесо тоски туманной повернулося на нас».
Вот письмо она свернула, где печаль переплелась.
И с очей слезу смахнула. И обрезала кайму От покрова.
Дух небесный от волос исшел чудесный,
Волос к волосу так тесно веял воронову тьму.
Отбыл раб. В одно мгновенье—в Гуляншаро. Достижение
Не узнало промедленья. Он пред Фатьмой. Автандил,
Видя, как его дорога до желанного порога
Довела, сердечно бога, как разумный, восхвалил.
Фатьме молвил: «Так стремленье довело до завершенья.
В чем возможно награжденье? В этом медлю я пока.
Не в другом. Нет больше срока. Буду с ним в мгновенье ока.
Каджи всех, решением рока, поразит его рука».
Фатьма молвила: «Могучий! Пламень вдвое ныне жгучий!
Без тебя, как лес дремучий будет жизнь. Но не жалей.
А не то сойду с ума я. Если каджи сила злая
Подойдет, оплот скрепляя, будет вдвое вам трудней».
Он назвал рабов Фридоны. «Мы здесь знали звуки стона.
Были трупы. Ныне — звона животворного волна.
Весть, которой ждали, с нами. Посмеемся над врагами.
Страх промчится их рядами. Мощь их будет сражена.
С этой вестью поспешите. Все Фридону расскажите.
Туго, крепко свиты нити. Нагоняю цель мою.
Сильный голос силен в кличе. Я лечу дорогой птичкой.
Всей богатою добычей вы владейте. Отдаю.
Долг велик, скажу по чести. Но, когда с Фридоном вместе
Будем, я не словом лести, делом долг отдам сполна.
Все, владели чем пираты, вам даю как часть отплаты.
Дар еще вам дам богатый, да не здесь моя казна».
Тот корабль, что ведал волны, а теперь стоял безмолвный,
Всех вещей красивых полный, слугам верным отдал он.
Полноценное даянье. «Вот мое еще посланье.
В нем прочтет повествованье побратим и друг Фридон».

40. Послание Автандила К Фридону

Он писал: «Фридон высокий! Царь царей и львиноокий!
Солнце! Ток лучей широкий. Знак от бога. Блеск побед.
Расточитель вражьей крови. Слушай голос светлой нови.
Брат твой младший — звук любви — лает дальний свой привет.
Знал довольно я смятенья. За упорное стремленье
Получил и награждение. Воплотился помысл мой,
Я узнал о той, в чьем взоре светит солнце, тают зори,
Мысль о ком лелеет в горе лев, сокрытый под землей.
Так. В плену она, в Каджэти. Взяли солнце каджи эти.
Быть за это им в ответе. Шутка мне пуститься в бой.
Из нарциссов — дождь кристальный. Роза вся в росе печальной.
Каджи в край сокрылись дальний. Но бесчисленен их рой.
Сердцем радуюсь той вести. Час не слез, а верной мести.
Там, где ты и брат твой вместе, трудность пала, даль светла.
Силой вашего хотенья достоверно достижение.
Кто восставит вам боренье? Не преграда вам скала.
Прочь ведет меня дорога. Снизойди. Пожди немного.
Стережет враждебность строго ту плененную луну.
Но примчимся мы, ликуя. Не томиться ей, тоскуя.
Что тебе еще скажу я? К брату брат — волна в волну.
Верность слуг твоих — громада. Слышать это — будет рада
Мысль твоя. А им награда быть высокая должна.
Кто с кем вместе, примет сходство. С благородным — благородство
Явно здесь твое господство. Доблесть сильного видна».
Слов изящных ценный слиток, чувств своих излив избыток,
Он свернул скрепленный свиток, и рабам Фридона дал.
На словах сказал, что нужно, синевласый,—с розой дружно
Рот его сверкнул жемчужно, свет коралловый в нем ал.
Грустен миг разлуки смутной. Вот он в горести минутной.
Но, найдя корабль попутный, он свершит мечты свои.
Солнце с ликом полнолунным, он пойдет путем бурунным.
Плачет Фатьма гласом струнным. Кровь и слезы льют ручьи.
Все твердят ему с слезами: «Что ты, солнце, сделал с нами?
Жег нас жаркими огнями. Для чего ж ввергаешь в мрак?
Праздник мучает, кончаясь. Мы здесь умерли, отчаясь.

Схорони нас, разлучаясь. Схоронил уж нас и так».

41. Сказ о том, как отбыл Автандил из Гуляншаро и встретился с Тариэлем

Вот плывет корабль в просторе. Автандил проехал море.
Радость светится во взоре. Будет счастлив Тариэль.
Скоро кончится тревога. Верный путник хвалит бога.
Необманчива дорога, и уж близко светит цель.
Лето светит изумрудом. Веет ветер с тихим гудом.
Скоро розы нежным чудом розоликому мелькнут.
Солнце путь переменило. Стройный едет, млеет сила.
Кипарис вздохнул, — так мило видеть розы там и тут.
Их не видел с давних пор он. Гром прокаркал, словно ворон.
Дождь пролился, прахи стер он, охрусталил ширь долин.
Розы-губы с поцелуем к розам льнут, и он, волнуем
Грезой, шепчет: «Мы здесь чуем диво-розу Тинатин».
Но, о друге помышляя, вот слеза и вот другая.
К Тариэлю поспешая, едет, слышен стук подков.
Все пустынно, дико, серо. Если ж лев или пантера
Рыкнут, — сила в нем и вера, — бил их в чаще тростников.
Он пещеры замечает. Взор их тотчас же признает.
Рад, но все же размышляет: «Побратим и друг мой здесь.
Заслужил я с ним свиданье. Вдруг не выйдет?
Вновь страданья. И напрасно ожиданье. Труд тогда погибнет весь.
Если ж здесь он, верно, ныне не в пещере. По равнине
Ход дает своей кручине, в поле мечется, как зверь.
Посмотрю за тростниками». Даль он меряет глазами.
И поспешными шагами конь, свернув, идет теперь.
Вот опять пустился скоком. На просторе на широком
Весел. Песня. Ненароком — солнце в полной красоте.
С ликом ярким и горящим. Тариэль с мечом блестящим
В тростниках блуждал по чащам и застыл на их черте.
Он стоял, как в землю врытый. Лев пред ним лежал убитый.
Кровью львиною омытый, меч горел в руке его.
Зов услыша Автандила, вздрогнул он, проснулась сила.
Побежал. Увидеть мило брату брата своего.
Светлый миг развеял думы. Соскочил с коня любимый.

Обнялися побратимы. Шея к шее нежно льнет.
Точно что-то их сковало. Цель близка, слабеет жало.
Роза розу целовала. В поцелуйном звуке мед.
Тариэль истаял в стонах. Но, как луч сияет в кленах,
Он, в словах резных, точеных, сердцу дал явить свой свет.
Возвещает тополь стройный: «Ты со мной, — и муки знойной,
Восьмикратной, беспокойной, в озаренной мысли нет».
Отвечая сердцу эхом, Автандил исполнен смехом.
Манит друга он к утехам. Зубы светятся лучом.
Молвил: «С вестью я желанной. Роза, луч приявши жданный,
Снова глянет осиянной. Не печалься ни о чем».
Тариэль сказал: «Отрада — быть с тобой. Ты радость взгляда.
Больше мне услад не надо. А прольет господь бальзам,
Будет божье утешенье. Ты же знаешь изречение:
В чем небесное решение, предоставим небесам».
Видя это в Тариэле, что в печали он, как в хмеле,
И что вести в нем не пели, Автандил спешить решил.
Вынул он кайму покрова той, в ком вечно розы снова.
Тариэль глядит. Ни слова. Дрогнул. Вмиг ее схватил.
Почерк он признал посланья. В лоскуте прочел признание.
И к лицу он, без дыханья, прижимает талисман. Дух ушел.
И, онемелый, скошен, пал он розой белой.
Скорби той отяжелелой сам не снес бы Саламан.
Вот лежит он бездыханный. Автандил к нему с желанной
Речью. Тщетно. Обаянный острой мыслью, он сражен.
Что слова тому, чье рденье до черты дошло горенья?
Знак ее был знак пронзенья. Весь он пламенем сожжен.
Пред бедою неминучей Автандил в печали жгучей.
Слышен стон его певучий. Рвет он волосы свои.
Сжал персты — алмазный молот, им рубин лица расколот.
В сердце страх и в сердце холод. Щек кораллы льют ручьи.
Сам себе лицо он ранит. Кто же помощь здесь протянет?
Мыслит: «Разве мудрый станет так испытывать огонь?
Как безумный поступил я. В жар смолы горячей влил я.
Лишком радости сразил я сердце. Сердце так не тронь.
Друга я убил и брата. Мне за то какая плата?
Торопливостью измята нежность тонкая души.
Разве можно безрассудным позволять быть в деле трудном?
Медлен будь. Явись хоть скудным, но и с благом не спеши».

Тариэль лежит как сонный непробудно, — как спаленный.
За водою, огорченный, витязь шествует, один.
Видит льва, и видит, хмурный, лужу львиной крови бурой.
Грудь как камень он лазурный омочил — и стал рубин.
Тариэль от крови львиной, словно тронут скользкой льдиной,
Дрогнул. Глянул взор орлиный. Он раскрыл свои глаза.
Смог присесть. Но былисини эти пламени пустыни, —
Месяц бледный на долине, где возрастает бирюза.
Прежде чем придут морозы, цвет роняя, вянут розы.
Лето жжет, в них гаснут грезы, — нет целительных дождей.
Жар сжигает, холод студит. Там и тут терзанье будет,
Но на ветках ночь пробудит звонкой песней соловей.
Тариэль глядит в посланье. Он читает начертанья.
Он безумеет. Рыданье жжет. Не видит ничего.
Слезы глаз в завесу слиты. Свет как мрак стал ядовитый.
Автандил встает сердитый. Резко стал бранить его.
Молвил словом осужденья: «Нет, такое поведение
Недостойно уваженья. Нам — улыбки ткать для дней.
Встань. Идем искать златую, солнце сердца. Ту живую
Приведешь ты к поцелую. Я тебя увижу с ней.
Были в мраке, ныне в свете. Счастье шлет нам ласки эти.
И направимся к Каджэти. Путь укажут нам мечи.
Спины каджи будут ножны. Дух наш будет бестревожный.
Путь осилим невозможный. Встанет враг, — его тесни».
Тариэль взглянул светлее. Не страдает больше, млея,
Поднял он глаза. В них, рдея, черно-белых молний свет
Как цветы идут вдоль пашен, так улыбкой он украшен.
Счастлив дух, с небесных башен увидав любви привет.
Автандилу — восхваленья. Говорит благодаренья.
«Где подобное умение и успех еще нашлись?
Ключ был горный на вершине, им поишь ты цвет в долине.
Слезный пруд не нужен ныне, без него цветет нарцисс.
Не могу найти оплаты. Бог заплатит, он богатый.
Мощен трон его подъятый. Даст с высот тебе наград».
На коней своих воссели. К дому. Радовались. Пели.
Наконец-то, в самом деле, нужно дать поесть Асмат.
А Асмат, полуодета, у пещеры. В дымке света
Тариэль, конечно, это? И на белом на коне
Витязь тот с осанкой львиной. Едут, близятся равниной.

С звонкой песней соловьиной. Или это все во сне?
Возвращался он доселе не таким. В глазах блестели
Капли слез. О чем запели? Отчего их звонкий смех?
Голове тут закружиться. Встала, думает, боится.
Точно пьяной, все ей снится. Ведь вестей не знает тех.
Увидав Асмат, вскричали, зубы в смехе показали:
«Гей, Асмат! Прошли печали. Божья милость к нам сошла.
Знаем мы, где солнце скрылось, та луна, что нам затмилась.
Что желали, совершилось. Грусти нет. Душа светла».
Автандил с коня спустился. Пред Асмат он очутился.
С гибкой веткой веткой слился. Обнял он ее рукой.
А она лицо и шею целовала. «Что же с нею?»
Вопрошает. «Плачу, млею. В чем рассказ желанный твой?»
Показал он ей посланье, той красивой начертания.
Словно в них луна сиянье бледно льет, увиден день.
«Вот взгляни. Была тревога. Но теперь ее немного.
К солнцу нас ведет дорога. Мы легко содвинем тень».
На письмо Асмат смотрела. Задрожала, побледнела.
Говорит она несмело, навождения страшась:
«Я ушам своим не верю. Что сказал ты? Ту потерю
Я с находкой нашей мерю. Весь ли — правда твой рассказ?»
Был ответ ей Автандила: «Да, нам радость засветила,
Там, где тьма была как сила, а теперь горит заря.
Тени более не тени. Ночь окончилась мучений,
Зло слабей в игре борений. Благо шествует, творя».
Царь Индийский улыбался, и с Асмат он обнимался.
Всяк и плакал, и смеялся. Точно вороновы хвост,
Росы свежали ресницы. Розы щек что свет денницы.
От людской идет станицы вплоть до бога верный мост.
Вознесли ему хваленья. «Благи, бог, твои решенья.
Не судил уничтоженья голос твой рабам твоим.
Мудр и благ ты свыше меры». И от солнца в сумрак серый
Есть пошли они в пещеры, и Асмат служила им.
Тариэль промолвил другу: «Окажу тебе услугу.
Не одну тебе кольчугу, и другое покажу.
Дни, когда в жестоком гневе здесь избил толпу я дэви,
Предрешил я жатву в севе, — этим кладом дорожу.
Те волшебные чертоги, что в утесы врыты, строги,
И сокровища в них многи. До сих пор их не взломал».

Тот доволен. Слово — дело. И Асмат уж не сидела.
Сорок входов вскрыли смело. За волшебным залом зал.
В каждом зале клад богатый. Самоцветы, ароматы.
И такие жемчуг-скаты, как огромные мячи.
Истонченные узоры. Тут и там резьба, уборы.
Золотые слитки — горы, груды злата льют лучи.
Тот дворец, от духов взятый, был добычею богатой
Полон весь. Горели латы. Верно, бились здесь и встарь.
Также вырублен был новый для оружия шкаф кленовый.
Рядом с ним стоял суровый, запечатан, тяжкий ларь.
Был он с надписью гласящей: «Здесь доспехи. Строй блестящий.
Шлем, нагрудник, меч, разящий сталь, как мох, игрой своей.
Если каджи — рой несметный, сила дэви — гром ответный.
Кто откроет ларь запретный, убиватель он царей».
На ларе печать сломили. Три убора находили,
Чтоб трем витязям быть в силе, полный был запас во всем.
Шлемы с крепкими бронями, нарукавники с мечами,
Изумрудами, как в храме, все горит живым огнем.
Каждый был в своей кольчуге. Каждый видел брата в друге.
Шлем с цепочкой скреплен в круге. Меч железо бьет в ничто.
Уж они его ценили. С чем сравнить в красе и силе?
Никому б не уступили. Меч такой найдет ли кто?
«В этом», — молвили, — «примета, что для боя мысль одета.
Глаз господень взором света нам сияет на пути,
Два убора, каждый, взяли. И еще один связали.
Улыбаяся, сказали: «Чтоб Фридону поднести».
Взяли кое-что из злата. Взяли также жемчуг-ската.
Вновь хранилище объято, запертое, тихим сном.
Автандил сказал: «Отныне меч в руке. И не пустыне,
Понесу его к твердыне, не замедлясь ни на чем».
Вот, художник, пред тобою — побратимы, и судьбою
Каждый венчан со звездою, — звезд любовники они.
Каждый в славе, ярком свете. И когда пойдут в Каджэти,
Копья в копья, братья эти распалят в сердцах огни.

42. Сказ о том, как отправились Таризель и Автандил к Фридону

В путь отправились с зарею. И Асмат берут с собою.
На коне за их спиною — к Нурадиновой стране.
Там еще коня купили. Ценным златом заплатили.
Им вожатый — в Автандиле, знает этот путь вполне.
Вот знакомая равнина. Видны кони Нурадина.
У индуса-властелина мысль такая — он ведь юн.
Говорит он Автандилу: «Ну-ка явим нашу силу.
За кобылою кобылу, будем гнать его табун.
Весь табун перед собою мы погоним. С вестью тою,
Пастухи — к нему, он — к бою, чтобы кровь пролить скорей.
Глянь налево и направо, это мы. Веселым — слава.
Если добрая забава, с ней и гордый веселей».
Хвать они коней отборных. Пастухи огней дозорных
Свет зажгли, и до проворных кличут: «Витязи, зачем
Здесь разбоем заниматься? Есть хозяин. С ним встречаться,
И с его мечом спознаться, не вздохнувши, будешь нем».
Вот взялись они за стрелы. Пастухи бегут, несмелы.
Кличет рой их оробелый: «Убивают, грабят нас».
Зов за зовом, крик за криком, и в смятении великом
Пред Фридоном, с бледным ликом, возвещают свой рассказ.
Вмиг Фридон вооружился, в строй он бранный нарядился,
На коня, и вскок пустился. На полях войска и крик.
Солнцеликих и морозом не спугнешь. Спешат к угрозам.
Смех скользит по скрытым розам. Под забралом скрытан лик.
Вот на поле на зеленом Таризель перед Фридоном.
«Да, готов он к оборонам, это вижу», — говорит.
Поднял шлем, а сам хохочет. «Что Фридона сердце хочет?
Битву он гостям пророчит. Ну, хозяин. Добрый вид».
Тут Фридон с коня проворно. Также те. И вмиг, повторно
Обнимались. Не зазорно и лобзание друзей.
Целовались. Радость — в боге. И ему хваленье многи.
И вельможи к ним не строги, в этой радости своей.
Говорит Фридон: «Скорее ждал я вас. И в чем затея
Будет ваша, не робея и не медля, весь я ваш».
С солнцами двумя согласный, мнилось, месяц там прекрасный.
Лик до лика — образ ясный. Радость трех цветочных чаш.
В дом нарядный едут трое. Сели в царственном покое.

Таризель на золотое сел покрытие, пышный трон.
Автандил садится рядом. Строй доспехов, радость взглядам,
Бранным надобный отрадам, получил от них Фридон.
Отвечали: «Мыдарами скудны здесь, и нет их с нами.
Но богатыми огнями да сияют в должный час».
Но Фридон к земле склонился, в благодарности излился:
«Этот дар мне полюбился. Он вполне достоин вас».
В эту ночь им отдых жданный. Баней тешаться желанной.
Ткань с красою необманной — красоте их молодой.
Им Фридон дает наряды. Их глаза подаркам рады.
Крупный жемчуг тешит взгляды. Яхонт в чаше золотой.
Молвит: «Я не краснобаен. Буду я плохой хозяин.
Но скажу: не чрезвычайен должен быть ваш отдых здесь.
Медлить — скудная затея. Если каджи нас скорее
Будут там, и нам труднее будет сбить с них эту спесь.
Что нам людные дружины? Малый строй с душой единой
Будет выводок орлиный. Триста хватит нам бойцов.
Каджи бить — до рукоятки меч вонзать в горячей схватке,
Ту найдём, чьи очи, сладки, превратят нас в мертвецов.
Был однажды я в Каджэти. Как придем, твердыни эти
Глянут грозно в вышнем свете. Срывы горные кругом.
Невозможен бой открытый. Не с полком, а с верной свитой
Приходи дорогой скрытой. Проникай туда тайком».
Правда мудрой показалась. Награжденная, прощалась
И одна Асмат осталась. Триста смелых — на конях.
Все, боец к бойцу, герои. Уж себя покажут в бое.
Смелый в силе — силен вдвое. Бог им в помощь. С ними страх.
Вот, с победою во взоре, пересекли сине море.
То молчат, то в разговоре, едут к цели день и ночь.
Знал Фридон все нити сети. Скоро области Каджэти.
Уж теперь не едут в свете. Должен мрак ночной помочь.
В этом был совет Фридона. Да не видит оборона.
Мысль его — как звук закона. Днем коням их отдых есть.
Вон и город. Там крутые всходы скал. Сторожевые
В перекличке часовые. Столько, столько их — не счесть.
Десять тысяч там дозорных у ворот проходов горных,
Видят львы. Зубцов узорных свет касается луны.
Так решают, не робея: «Сотня — тысячи слабее.
Но, коль путь возьмут вернее, сонмы тысяч сражены».

43. Сказ о том, как совещались Фридон, Автандил и Таризель о нападении на твердыню Каджэти

Говорит Фридон: «Дорога здесь трудна, и нас немного.
Только хитрость здесь подмога. Впрямь на приступ здесь пойти
Может разве что громада. Чуть замкнут ворот преграда
И твердынь кругом ограда — крепки так, что нет пути.
В дни, которым нет возврата, в детстве, ловкость акробата
Я развил в себе. Со ската прямо прыгнуть я могу.
Если будет здесь веревка, даст возможность мне сноровка
Так по ней взобраться ловко, что сейчас приду к врагу.
Кто, качнувши сильным станом, ловко здесь мелькнет арканом,
Даст начало многим ранам, петлю к вышке прикрепив:
Как по чистому я полю тело к бегу приневолю.
Там внутри врагов похолою, будет вид у них спесив.
В полноте вооруженья, щит держа без затрудненья,
Словно ветра дуновенье, ринусь прямо на солдат.
И поспешною рукою я ворота вам открою.
Вы же явитесь грозою — там, где будут бить в набат».
Автандил сказал Фридону: «А! Даешь ты оборону.
Смело рушишь ты препону. Львиной хочешь бить рукой.
Знаешь заговор на раны и советы-талисманы.
Но не слышишь — кличут враны, кличет близко часовой.
Ты пойдешь, и звук доспеха стукнет, звякнет, дрогнет эхо,
Вмиг поднимется потеха. Часовые прибегут.
Хоть бы ты взбирался ловко, и у них ведь есть уловка,
Будет срезана веревка. Нам не это нужно тут.
Все не ладно в этом ладе. Так не будешь в крепком граде.
Лучше вот что. Вы в засаде в ожиданьи бранных сеч.
Я ж отправлюсь без опаски, как купец. Сплету им сказки.
А на муле будут в связке — шлем, броня и острый меч.
Не пойдем туда мы трое. Заподозрят в этом злое.
Незамечен и в покое, как купец, пройду туда.
Бог поможет мне в успехе. Облекусь тайком в доспехи.
И пойдут тогда потехи. Кровь польется как вода.
Вмиг мечом сниму дозоры. Руки в деле будут споры.
Разломаю все запоры. Вы ударите во вне.

Как ворота вам открою, вдруг ворветесь вы волною.
Если мыслию иною победим, — скажите мне».
Таризель сказал: «Геройство — ваше истинное свойство.
В вашем сердце беспокойство не вместится никогда.
Зря ли вам махать мечами? Вы с могучими сердцами.
Вы туда скорей бойцами, где всего грозней беда.
Но и мне пусть выбор будет. Ту, что ум к безумью нудит,
Свалки шум в дворце пробудит, — солнце станет в высоте.
Глянет вниз, там бой могучий. Нет меня в грозе кипучей.
Спрячьте лести звук певучий. Нет, слова напрасны те.
Тут пятно есть. Лучше это нам принять, как зов совета:
В самый ранний час рассвета три отряда с трех сторон,
Понесутся наши кони. Будет мниться обороне,
В верном будем мы уроне. Что весь строй наш? Малый он.
Мы же, сильные, не кто-то. Не замкнут они ворота.
Мы уж там. Пойдет работа. Те извне, те изнутри.
Грянем мощным мы тараном. Пусть идут, хоть целым станом.
Счет потерян будет ранам. Всех, кто там, на меч бери».
Говорит Фридон: «Яснее стало все. Как быть, виднее.
Конь, что был моим, быстрее, чем какой-либо другой.
Если б знал, что может стать, будем к Каджи мы врываться,
Я б не стал с ним расставаться. В этом скуп, — уж я такой».
Но словами он такими потешается лишь с ними.
Вот решеньями своими дело сделали видней.
Рады дружеской потехе. Облеклись они в доспехи.
Наигравшись в светлом смехе, вот садятся на коней.
Мысль, что встала в Таризеле, так они уразумели,
Приведет вернее к цели. Духом все они легки.
Разделилось три отряда. В каждом — сто, на радость взгляда.
Сердце конское им радо. Закрепляют шишаки.
Вижу их в сияньи этом, По семи идет планетам
Луч, чтоб их овеять светом. Вкруг героев столп огня.
Так решенное свершая, едет их семья живая,
Всех врагов своих сражая, всех же любящих пьяня.
Вот их образ, вот сравненье: дождь, ниспав на возвышенья
Гор, струит свое течение как разметанный поток, —
Но, когда натешась в споре и вдали увидя море,
Он расширится в просторе, он спокоен и глубок.
Автандил — огонь стремленья. Смел Фридон, он — дерзновенье.

С Таризлем им сравненья все ж в красе отваги нет.
Солнце светит, — где планеты? И в Плеядах гаснут светы.
Им теперь хвалы пропеты. Гляньте в бурный ход побед.
Трое врат, и смелых трое. С ними войско небольшое.
С каждым сто. Но в этом рое каждый витязем глядит.
Ночью спешные разведки в достижениях были метки.
Луч зари скользнул до ветки. В путь. У каждого есть щит.
Раньше ехали нестройно, и как путники спокойно.
Страху быть тут непристойно. Замыкается кольцо.
Не тревожась, смотрят стражи. Кто они? Занятно даже.
Вдруг помчались в город вражий — и забрало на лицо.
Дрогнул каждый конь, прищипорен. Этот бел, а этот черен.
Стук копыт. Полет проворен. Все в ворота. Смело в бой.
Заиграли барабаны. Звуки флейт и дудок пьяны.
В срывах дрогнули туманы, вдруг прожженные трубой.
Тут излился на Каджэти божий гнев. И в солнцесвете
Встал пожар. И были плети — раскаленные лучи.
В колесе небес, в их круге, зрелись огненные дуги.
Пали трупы друг на друге. Смертный сеют сев мечи.
Рубит острый меч, не целя. Как густого полный хмеля,
Грозный голос Таризля и раненых мертвит.
Прах пред смелым вражьей брони. С трех сторон ворвались кони.
Топчут в бешеной погоне. К башне быстрый бег их мчит.
Лев Фридон, по вражьим силам пролетевши быстрокрылым,
Повстречался с Автандилом. Шлют друг другу звонкий клич.
Их набег увенчан славой. Враг разбит. Поток кровавый.
«Таризль где величавый?» Взором где его настичь?
Где он? Скрылся как виденье. К башне замка их стремленье.
Там мечей нагроможденье и обломки лезвия.
Десять тысяч обороны мертвы. Еле слышны стоны.
И стекает, крася склоны гор, кровавая, струя.
Все изранены, избиты, стражи замка с прахом слиты.
И врата в него раскрыты. Тут и там, со всех сторон,
Где оплот был, былискрепы, ныне смотрят только щепы.
«Бурей доблестно-свирепой здесь прошел, конечно, он».
Вот идут готовым ходом. Гул шагов вослед по сводам.
Видит, яд сменился медом, и Луне открылся путь
К Солнцу. Змей сражен. Сменяются токи света. Кудри вьются.
Шлем откинут. Нежно жмутся, шея к шее, к груди грудь.

Две звезды, предавшись чарам, поцелуйным светят жаром.
Скорбь, Зуаль, с борцом, Муштхаром, сочетались в красоте.
Если розы — в окруженье солнцесвета, вдвое рđenje.
Им под солнцем наслаждение, бывшим долго в темноте.
Розы губ повторно слиты. Стебли пальцев перевиты
Тут и двое верной свиты, Автандил и с ним Фридон
Вышли. Трое — побратимы. Вот он, солнца лик любимый.
Да пребудут же хранимы те, пред кем глубок поклон.
Нэстан-Джар, друзей встречая, светлым ликом привечая,
Блещет солнцем, золотая. Гордый их поцеловал.
И с нарядными словами, вот, стоят перед бойцами,
Что окончили сердцами подвиг тот, что был не мал.
Тариэля восхваляют. Как победный бился, знают.
И себя не умаляют. Всем пристоен звук хвалы.
Им оружие послужило. Меч рубил, кипела сила.
Их стремленье львиным было. Были против львов козлы.
Триста было их вначале. С честью там сто сорок пали.
Хоть Фридону в том печали, все ж и радуется он.
Разметалась вражья сила. Всем им, злым, нашлась могила.
А уж что сокровищ было, клад не может быть сочтен.
Все, что было быстрого, — мул, верблюды и конь, — их много
Взято. пышная дорога. Их три тысячи голов.
Груз оценят властелины. Гиацинты и рубины.
И чтоб блеск вернуть единый, паланкин уже готов.
Шестьдесят бойцов в Каджэти, чтоб хранить твердыни эти,
Оставляют. В ярком свете едут ныне в Град Морей.
Путь туда не бесконечный, хоть далекий, но беспечный.
Фатьму видеть — долг сердечный. Нужно им предстать пред ней.

44. Сказ о том, как отправился Тариэль к Царю Морей и к Фридону

До Царя Морей, для знанья, Тариэль послал посланье:
«Вражьей силы растоптанье, Тариэль, с огнем лица,
Солнце я мое, в расцвете, приношу из тьмы Каджэти.
Ты прими приветы эти — в честь родного и отца.
Каджи край — уж мой он ныне. Все богатства и твердыни.
От твоей лишь благостыни здесь заря моя жива:
Фатьма ей была сестрою, больше, матерью родною.

Расплачусь я как с тобою? Ненавистны мне — слова.
Приходи. Твоим здесь краем мы идем и поспешаем.
Я поспешностью сжигаем, замедляться не могу.
Каджи край и их твердыни от меня прими ты ныне.
Будешь грозным для гордыни, будешь страшен ты врагу.
Речь моя и до Усена. Ту, в которой блесков смена,
Фатъма вырвала из плена, — пусть же к нам придет, светла.
Кто желанней ей — желанной, ярким солнцем осиянной,
Ярче звезд, как первозданный луч светлее, чем смола».
Получивши извещение, Царь Морей пришел в волнение, —
Весть неожиданная смятение пробуждает в тишине.
Восхвалил в словах покорных он владыку высей горных
И не ждал вестей повторных. Вмиг поехал на коне.
Взял даров, и взял не злата, а пригоршни две агата.
Свадьба будет там богата. И уходит караван.
Фатъма с ним. Их путь далекий. Прах взметался поволокой.
В день десятый—свет высокий: лев и солнце, светоч стран.
Царь Морей свой путь кончает. Трое их его встречает.
Каждый, спешась, привечает. Кротко их лобзает он.
Тариэлю восхваленья. С ним она — как озаренье.
Лик, достойный удивленья, весь лучами окружен.
Фатъма в пламени и тает. Вот целует, обнимает.
Поцелуи принимает к лику, шее и руке.
Шепчет: «Боже — пред зарею мрак не властен надо мною.
Буду я твоей слугою. Свет велит молчать тоске».
Обнимает Фатъму дева. Нежно, словно звук напева,
Говорит она без гнева: «В сердце было много слез,
В сердце ночь была бурунна. Но теперь я полнолунна.
Солнце светит многострунно. Роза — вот, и где мороз?»
Медлит Царь Морей неделю. Благодарен Тариэлю.
Свадьбе час, любви и хмелю. Счет даров — как россыпь звезд.
Блещет злато с самоцветом. По златым они монетам
Как по праху ходят светом. Золотой до счастья мост.
Кучей там парча с шелками. С гиацинтами-камнями,
Тариэлю словно в храме, злат-венец дарует он.
Гиацинты золотисты, в них сияет пламень чистый.
Также царственно-лучистый, вырезной дарит он трон.
И покров, где все румяно, — свет-рубины Бадахшана,
Гиацинтов алых рана, — он подносит Нэстан-Джар.

Дева с юношей, сияя, как гроза там молодая.
Взглянет кто на них, — мечтая, новой страсти в нем пожар.
Автандилу дар богатый и Фридону жемчуг-скаты,
И седло с красой несмятой; и отличный в беге конь.
И плащи, горят огнями, небывалыми камнями.
Молвят: «Ты восхвален нами. Будь богатым как огонь».
Таризель благодаренье красит ласкою реченья:
«Царь, полны мы наслажденья: мы увидели царя.
Ты несложно царь всесильный. И дары твои обильны.
И сюда дороги пыльны, но мы шли к тебе не зря».
Царь Морей, ответом ясным, молвит: «Лев с лицом прекрасным.
Смелый, жизнь твоим подвластным, убиватель нежный тех,
Что с тобой живут в разлуке, — к звуку счастья где есть звуки,
Как ответ? Я буду в муке: без тебя — и без утех».
Таризеля к Фатьме слово — как от брата дорогого:
«Долг велик, сестра. Такого долга — что придет под стать?
Пышность каджи, клад до клада, все твое, тебе для взгляда.
Ничего мне здесь не надо, и не буду продавать».
Фатьма кланяется низко. «Кто с тобой, властитель, близко,
Хоть не лик твой василиска, но в огне он сам не свой.
Я с тобой во власти чуда. Но, когда уйдешь отсюда,
Что я буду? Пепла груды. Горе тем, кто не с тобой».
Губы жемчуг расцветали, — два лучистые в печали
До Царя Морей сказали: «Без тебя нам трудно быть.
Уж не будем забавляться, звуком арфы опьяняться,
В громкой музыке встречаться. Но дозвошь теперь отплыть.
Будь отец нам, наш родитель. Дома нашего строитель.
И корабль нам дай, властитель». Царь ответил: «Что не дам?
Сердце ваше успокою. Буду сам для вас землею.
Коль спешишь, сейчас устрою, сильный, путь-дорогу вам».
И корабль к дороге дальней снаряжает царь печальный,
Наступает миг прощальный. Таризель — среди зыбей.
Те, объятые скорбями, бьются оземь головами,
Фатьма слезы льет ручьями, умножая глубь морей.
Побратимы, эти трое, поле все прошли морское.
Слово данное — живое. Клятва их подтверждена.
Отдыхают их доспехи. Им пристали — песни, смехи.
Светы губ горят в утехе, и кристальность в них ясна.
Весть Асмаат идет благая. И в дома вождей другая.

Тех, что, в битве выступая, за Фридоном мчались в бой.
«Он сюда приносит свет, да сияют все планеты.
Будем ныне мы согреты, отдохнем от стужи злой».
Солнце в светлом паланкине. Путь проходит по равнине.
Уж конец пришел кручине. В них веселие детей.
В край пришли они Фридоны. Все цветисто и зелено.
Их родное манит лоно. Слово песни — свет лучей.
Их встречают дружным хором. И Асмат, блестя убором,
Приковалась нежным взором к солнцу, Нэстан-Дарэджан.
Утешенье им друг в друге. Кончен долгий путь услуги.
Два цветка в цветистом круге. Миг свиданья верным дан.
И целует, обнимая, Нэстан-Джар ее золотая. Молвит:
«Сколько тьмы и зла я принесла моей родной.
Скорбь была неравномерна. Но и благ господь безмерно.
Если сердце беспримерно, где награды взять такой?»
Говорит Асмат: «Хваленья всеблагову. Разуменье
Зрит, что было в тьме стесненья. Роза тут и жемчуга.
Жизнь или смерть — мне все едино. Над картинами картина.
Если любит господина сердцем преданным слуга».
Возглашает строй сановных: «Коль в решениях верховных
Бог дарует дней любовных, так восхвалим же его.
Мы в кострах огнем сгорали, лик явил он, нет печали.
Стали близью наши дали. Воскресил он, что мертво».
Целованья и объятья. Царь сказал им: «Ваши братья
Были жертвой. Восхвалять я буду смелых каждый час.
В вечном — жизнь за сновиденьем. С вышним слитый единеньем,
Лик их светит озареньем, лучевым в сто двадцать раз.
И хоть смерть их мне страданье, их бессмертный дар — сиянье.
Век о них воспоминанье. Принял их небесный царь».
Он сказал и плачет нежно. И лицо благого снежно.
Стынут розы, и мятежно веет в цвет — седой январь.
Видя слезы в Таризле, все мгновенно восскорбели.
Словно стон прошел свирели. И внезапно стихли все.
И промолвили с почтеньем: «Если солнечным ты зреньем
Стал для мудрых, озареньем засветись как луч в росе.
Да пребудет всяк спокоен. Кто же этих слез достоин?
За тебя сраженный воин — он счастливее живых».
И кругом смягчились лики. И сказал Фридон владыке:
«Были скорби, и велики, — в светлых днях потопим их.

Помоги нам в этом, боже». Автандил сраженных тоже
Восхвалил. «Но для чего же, — молвил, — плакать лишний раз?
Грусти дан был час грустящий. Снова лев с зарей блестящей.
Так смеяться будем чаще, а не слезы лить из глаз».
Весел град Мульгхазанзари. Бьют литавры как в угаре.
Кличут трубы. К нежной чаре много льнет различных чар.
Чу, грохочут барабаны. Медь звучит. Все точно пьяны.
И красавицы, румяны, все сбежались, пуст базар.
И торговцы приходили. Их ряды забиты были.
А порядок наводили стражи с саблями в руках.
Челядь, дети, все толпятся. Тем вперед, а тем податься.
Только б как-нибудь пробраться. «Посмотреть!» — у всех в глазах.
У Фридона Нурадина весь дворец одна картина.
Все рабы — до господина. И на каждом пояс злат.
Все парчой горит златою. И ковры там под ногою.
И они над головою мечут золото как град.

45. Сказ о венчании Тариэля и Нэстан-Дарэджан Фридоном

Свадьба справлена Фридоном. Честью честь им, с белым тронем,
Словно в брызгах окропленным в желто-красный самоцвет,
Автандилу желто-черный также дан престол узорный.
Ждет толпа. В ней вздох повторный. Вижу, тут терпенья нет.
И певцы там не молчали. Песни льются без печали.
Свадьбу весело сыграли. Был шелков роскошный дар.
Нежный блеск необычаен. Добрый тот Фридон хозяин.
Лик улыбки как изваян в ворожащей Нэстан-Джар.
Счет даров сполна ли нужен? Дар с подарком явно дружен.
Девять царственных жемчужин, как гусиное яйцо.
Яхонт также драгоценный, в солнцесвете несравненный,
Ночью в блеске неизменный, — хоть рисуй пред ним лицо.
Также дал им ожерелье, чтобы шее быть в веселье, —
Уж какое рукоделье: гиацинты — нить кружков.
Автандилу льву дал чудо, — и поднять то трудно, —блюдо.
Не пустым унес оттуда это блюдо враг врагов.
Все хозяин жемчугами уложил его с краями,
И с пристойными словами эта дань дана была.
Весь чертог обит парчою, тканью нежно-золотою.

Таризель к нему с хвалою, стройно сложена хвала.
Восемь дней, с усладой верной, свадьбы праздник беспримерный.
Ток даров, струей размерной, каждый день им как венец.
И конца нет узорочью. Арфа с лютней днем и ночью.
Глянь, увидишь ты воочью: юный — с девой наконец.
Таризель сказал, смягченный, до Фридона: «Брат рожденный
Ближе быть не мог. Взметенный, ранен насмерть, по волнам
Я бродил, — явил ты сушу. Клятву сердца не нарушу.
И как дар отдам я душу — брату, давшему бальзам.
Сам ты знаешь Автандила, как его служенье было.
Преисполненное пыла и готово до всего.
Я хочу служить взамену. Положил конец он плену.
Сам пусть знает перемену. Жжет костер, — гаси его.
«Брат, — скажи ему, — милуя, как за службу заплачу я?
Бог, дары свои даруя, света жизни даст твоей.
Коли я твое хотенье не явлю как исполнение,
Не хочу отдохновенья даже в хижине моей.
Будет в чем моя подмога? Пусть — нам смело, с волей бога,
До Арабии дорога. Ты мой вождь, а я твой друг.
Нежных мы смирим речами, а воинственных мечами.
Ты к своей жене с дарами, иль моей я не супруг».
Чуть услыша Таризеля это слово, —словно хмеля
Вдруг сказалася неделя, — Автандил в веселый смех.
«Мне помощник? Где ж печали? Каджи в плен мою не взяли.
Я не ранен, не в опале. Розе снов — во всем успех.
Солнце светит на престоле. И царит по божьей воле.
Не в Каджэти, не в неволе, не во власти колдунов.
Все к ней с лаской и приветом. Помогать ей, что ли, в этом?
Не дождешься тут, с приветом, от меня ты лестных слов.
Если хочет провиденье, так небесные виденья
Принесут мне утешенье в этой огненной печи.
И тогда по смерти буду льнуть я к солнечному чуду.
Счастья здесь искать повсюду, — хоть ищи, хоть не ищи.
Передай ответ правдивый: «Чувства, царь, твои красивы.
Был слуга я твой радивый — прежде, чем я был рожден.
Пусть же я перед тобою буду только лишь землею,
До тех пор, как ты, с хвалою, не получишь царский трон».
Ты сказал: «Хочу слиянья твоего с звездой сиянья».
В том благое пожеланье. Но не рубит здесь мой меч.

И не властно здесь реченье. Лучше буду ждать свершенья
От небес и провиденья. Даузнаю радость встреч.
А чего теперь хочу я? Чтоб ты в Индии, ликуя,
Власть на тронах знаменуя, воцарившись, поднял стяг.
И чтоб этот свет небесный, облик с молнией чудесной,
Был с тобой в отраде тесной. И чтоб был сражен твой враг.
Совершится, — жизнь восславлю, и тебя тогда оставлю,
Путь в Арабию направлю. Ближе к солнцу. И она
Мир души моей упрочит. И загасит, коль захочет,
Тот пожар, что сердце точит. Речь, как видишь, не длинна».
Четко все в словах ответа. Тариэль, услышав это,
Говорит: «Зима не лето. Лета я ему хочу.
Он нашел зарю златую, чем живу и кем ликую.
Жизнь и он пускай живую встретит, мной ведом к лучу.
Той заботой мысль объята. Да явлю в том доблесть брата.
Вот скажи: «В путях возврата, до приемного отца
Твоего — мне возвращенье. Попросить хочу прощенья
За рабов, их убиенье. Умягчить хочу сердца».
Молви: «Завтра в путь мне нужно. Больше медлить недосужно.
С словом: «Если» жить содружно — смерть для сердца моего».
Царь Арабский — он уважит сватовство мое, и скажет
То, что ум ему прикажет. Буду я молить его».
Весть пришла через Фридона. В этой речи звук закона.
Сердце вновь его спалено. В сердце дым и головни.
«В путь, и тщетно промедленье». В сердце витязя боренье.
Так, владыкам — уваженье. Да велят сердцам они.
Автандил пришел смущенный. И коленопреклоненный
Тариэлю, как сраженный, обнимает ноги он. Говорит он:
«Сердцу больно. Пред Ростэном хоть невольно,
Вин моих уже довольно. Дана буду раздвоен.
Быть хочу односердечным. Ты не сможешь перед вечным
В этом миге скоротечном — правосудным быть с плеча.
В сердце старца-властелина обо мне теперь кручина.
Не могу на господина я, слуга, поднять меча.
Будет тут зерно раздора, между мной и милой ссора,
Из разгневанного взора будет жжение огня.
Без вестей мне быть случится, от нее вдали томиться.
Кто прощенья добиться здесь сумеет для меня!»
Солнцеликий, смехом ясным, Тариэль с лицом прекрасным,

Руку взяв движеньем властным, Автандила поднял вдруг.
«Ты мне сделал все благое. Чрез тебя мой дух в покое.
Дай же быть счастливым вдвое. Знать, что счастлив брат и друг.
Ненавижу опасенья, в друге чопорность, сомненья,
Лик оглядки, охлажденья. Тот, кто друг сердечный мой,
Пусть меня к себе он тянет, предо мной открыто станет,
Если ж нет, разрыв не ранит, он с собой, а я с собой.
Сердце я твоей желанной знаю в чаре необманной.
Мой приход не будет странный. Чрез меня придет жених.
А царю скажу я разное то, что нужно и приязно.
И желанью сообразно вид желанный встречу их.
Сердце старое покоя, лишь скажу царю одно я, —
Чтоб, чертог блаженства строя, доброй волей отдал дочь.
Если цель есть единенье, для чего ж вам разлученье?
Вам друг в друге озаренье. Нужно вам цвести помочь».
Автандил, увидев ясно, что препятствовать напрасно,
Поступил во всем согласно, с Тариэлем отбыл он.
А Фридон отряд отборный выбрал свитой им дозорной.
Сам он — с ними. Друг бесспорный, с ними должен быть Фридон.

46. Сказ о том, как снова идет Тариэль к пещере и видит сокровища

Мудрый Дивнос сокровенье нам явил в словах реченья:
«В боге благо, возрожденье. Не из бога дышит зло.
Злой им в миге укорочен. Ход благого им упрочен.
В совершенстве вышний точен. Вне низин души светло».
Эти львы всегда живые, эти солнца золотые,
В дали шествуют иные. С ними дева, с ликом зорь.
Крылья ворона синеют. В этих косах — светлы млеют.
И рубины щек алеют. Самоцветы с ней не спорь.
Это солнце в паланкине нераздельно с ними ныне.
Вот охота по долине. Кровь течет. Свистит стрела.
Где б они не проходили, той красе и этой силе
Взоры всех восторг струили, им дары и им хвала.
Словно это свод небесный. Между лун, в семье их тесной,
Солнца лик горит чудесный. Дни пути — и ближе цель.
Между гор, что в мгле как в дымах, для людей недостижимых,
Строй туда идет любимых, где томился Тариэль.

Молвит витязь: «Буду ныне вам хозяин. Там в стремнине
Недостатка нет в дичине. И накормит нас Асмат.
Поедим, повеселимся, а притом обогатимся.
Мы в дарах здесь не скупимся, многосветел пышный клад».
Спешась, вот идут в пещеры, в тот чертог утесов серый.
У Асмат дичин без меры. Режет вкусные куски.
Радость. Кончена дорога, где страданий было много.
Восхваляют сердцем бога, — счастье вывел из тоски.
Вот в скалах, через пустоты, чрез иссеченные гроты,
Где сокровища как соты, где печати по дверям,
Всей толпой они проходят. Забавляясь, в залах бродят.
И богатствам счет не сводят. Не воскликнут: «Мало нам».
Есть для каждого блестящий там подарок подходящий.
Каждый был там предстоящий Тариэлем награжден.
А потом из несочтенных тех сокровищ сгроможденных,
Как из житниц нагруженных, каждый воин наделен.
До Фридона молвит слово: «Хоть бери еще и снова,
Я должник твой, и такого долга — как покрыть объем?
Но, благое совершая, верь, — награда ждет у края.
Этим кладом обладая, в царстве им блистай своим».
Воздаст Фрид он почтение, и исполненный смиренья
Говорит благодаренья: «Царь, я твой, тебя любя.
Ты как в бурю — голос грома. Всякий враг твой лишь солома.
Счастье мне тогда знакомо, как смотрю я на тебя».
Повелел Фридон — верблюжий караван доставить дюжий,
Чтоб богатства в час досужий перевести к себе домой.
И в Арабию оттуда держать путь. Исполнен чуда,
Ветер шепчет весть про чудо. К солнцу месяц молодой.
Долгодневное томленье. Вот из дымки отдаленья
Видны замки и селенья. То Арабия, она.
После дней тоски суровых, для восторгов встречи новых,
В голубых толпа покровов, к Автандилу столь нежна.
Тариэль до Ростэвана шлет сказать: «Душа медвяна.
Роза в цвете и румяна. Не сорвал никто ее.
Царь Индийский, духом ясный, до Арабии прекрасной,
Я дерзнул прийти. О, властный, пред величество твое.
Вид мой, раз, в тебе волнение пробудил и раздраженье.
Наложить хотел плененье на меня, и на коне
Гнался. Было то неправо. Вспыхнул гнев во мне как лава.

И налево, и направо смерть рабы нашли во мне.
Потому я пред тобою ныне с прошлою виною.
Грех свой бывший не укрою, — бывший гнев покрыл его.
Яв дарах не благодетель. В этом мне Фридон свидетель.
Дар один принес радетель: Автандила твоего».
Слов где взять мне подходящих, чтоб явить восторг горящих?
В блеске трех лучей блестящих млеют щеки Тинатин,
Задрожавшие ресницы оттеняют свет зарницы.
Под бровями — огневицы. Алым светится рубин.
Чу, литавры. Гул их льется. Смех и говор раздается.
Воин с воином смеется. Под уздцы берут коней.
Седла все в огнях узорных. Много витязей проворных,
На конях своих отборных, жаждут встречи, будут в ней.
Едет царь, с ним властелины. И вокруг владык дружины
Словно дружный хор единый. Благодарны богу все.
«Нет у зла существованья. Для благого лишь деянья
Есть и жизнь, и ликование. Свет в готовой ждет красе».
Уж они не за горами. И нежнейшими словами
Говорит, горя глазами, к Тариэлю Автандил:
«Видишь эту пыль равнины? В этом дым моей кручины.
В сердце пламени лучины. От огня лишаюсь сил.
Это мой отец приемный. Я же, точно вероломный,
И безродный, и бездомный, медлю встретить, пристыжен.
Я в узор вступил нежданный. Стыд мой — слово сказки странной.
Но мечты моей желанной — вестник ты и друг Фридон».
Тот ответил: «Лик смиренья пред владыкой — знак почтения.
Здесь побудь в отъединенье. Не предам тебя огню.
Коль решение такое есть у бога, будь в покое:
Солнце с обликом алоэ я с тобой соединю».
Льву надежды эти сладки. В малой ждет он там палатке.
Радость взглядов и оглядки, ждет и Нэстан-Дарэджан,
Дрожь ресниц волной урочной — ветер северо-восточный,
Царь Индийский полномочный едет прямо, строен стан.
И Фридон с ним едет вместе. О прибытии были вести.
Царь Арабский этой чести ждет. И едут наконец.
Тариэль лицом склонился. Прочь с коня, и озарился.
Царь к царю светло явился, сын один, другой отец.
Тариэля почитанье — Ростэвану знак вниманья.
Он дарит ему лобзанье, удовольствуя свой рот.

Тариэлю — ласка слова: «Блеск ты солнца золотого.
Без тебя не будет снова светел день, как ночь пойдет».
Царь глядит на обаянье, он исполнен чарованья.
Хвалит все его деянья, достижение побед.
И Фридон явил почтение, пред владыкой преклоненье.
Царь исполнен утомленья: Автандила с ними нет.
В нем смущение велико. Тариэль сказал: «Владыка,
Твоего достигши лика, сердце предал я судьбе.
Я дивлюсь, как предо мною, слово молвил ты с хвалою.
Автандил когда с тобою, кто же будет люб тебе?
Чую я в тебе томленье и, конечно, удивленье,
В чем причина промедленья. Сядем здесь на этот луг.
Тайну я тебе открою, почему он не со мною.
Снизойди своей душою. Просьбу вымолвлю я вдруг».
Вот садятся властелины. Сонмом едут вокруг — дружины.
Юный светит как рубины, все лицо озарено.
Смехом, ликом, той игрою, он владеет всей толпою.
Начал речью он такую, — как к зерну кладя зерно:
«Царь, хотел бы речью стройной усладить твой слух достойный,
Но робею, беспокойный. Как молить тебя смогу?
И о светлом молвить мне ли? Сам я темен, в самом деле.
Только им лучи зардели, чрез него свечу, не лгу.
Ныне оба мы дерзаем вблизи прийти, и умоляем.
Я был мукою терзаем, Автандил мне дал бальзам.
Он забыл, что в боли равной, в муке тяжелой и отравной
Был со мной он полноправный. Но не час быть в этом нам.
Утомлять тебя не стану. Излечи же в сердце рану.
Длиться ты не дай изъяну. Он ее, она его, Оба любят.
Пламень ярый пусть не множит в них удары.
Дочь твоя, чьи сильны чары, будь супругой для него.
Сердце мрамор, сам гранитный, да пребудет с нею слитный.
Вот с какой я челобитной». Тут платок на шею он
Навязал, и преклонился, на колено становился.
Словно школьником явился. Всяк был сильно удивлен.
Тариэля как сраженным и коленопреклоненным
Царь, увидя, был смущенным, и далеко отступил.
И явив ему почтение, наземь пал: «От огорченья, —
Молвил, — скрылось наслажденье, что в твоём я виде пил.
В ком же было б дерзновенье не свершить твоё хотенье?

Ни на миг во мне сомненья. Дочь хоть в рабство я отдам.
Да свершится тотчас слово. Где бы ей искать другого?
Где бы ей найти такого, хоть блуждай по небесам.
Видеть зятем Автандила радость мне, в нем свет и сила.
Дочь уж царство получила. Ей приличествует трон.
Цвет опал мой, цвет завялый. А она, с красой немалой,
Дышит, светит розой алой. Будь же с нею счастлив он.
Если б ты раба супругом выбрал, только бы друг другом
Были счастливы, — к услугам, я перечить бы не мог.
Тщетно было бы боренье. Автандил же — вне сравненья.
В этом богу восхваленье. Да войдет же он в чертог».
Слыша царские признанья, Тариэль, храня молчанье,
Лик являет почитанья, наземь пал лицом своим.
Воздаст и царь почтенье. Каждый в сердце полон рвенья.
Говорят благодаренья, и совсем не скучно им.
На коня Фридон скорее. Мчится, светлой вестью вея.
Автандил заждался, млея. И к царю опять, вдвоем.
Полон радости великой, но смущен перед владыкой,
Преклонился лунноликий, светит дымчатым лучом.
Царь встает, его встречая. Витязь, лик платком скрывая
И смущенно наклоняя, стал, как вешний куст в цвету.
Цвет, подернутый туманом, солнце в туче над курганом.
Но ничто, в гореньи рьяном, не сокроет красоту.
Кроткий царь его лобзает, лаской слезы осушает.
Ноги старцу обнимает умягченный Автандил.
Молвит царь: «Восстань, смущенье подави. Ты удаль рвенья
Лишь явил, и для служенья мне всю верность сохранил».
Все лицо его лобзая, говорит: «Горячка злая
Жгла и жгла, меня терзая. Поздно ты пришел с водой.
Все же ты залил горенье. Завтра, лев, соединенье
С солнцем, ждущим расцветенья. Поспеши к заре златой».
Ласку всю явив герою, усадил его с собою Царь.
Над бывшей раньше мглою разожглась лазурь светло.
Юный с царственным во встрече рады взорам, рады речи.
Вон уж где оно, далече, то, что было и прошло.
Витязь молвит властелину: «В ожидании я стыну.
На пресветлую картину нужно ль медлить нам взглянуть?
Встретим солнце, — в утре этом золотым засветим светом.
Кто идет зарей одетым, луч роняет он на путь».

Вот и блещут в солнцесвете, с Таризлем, двое эти.
Голиафы о привете тосковали, — с ними он.
Что хотели, повстречали. Победили все печали.
Не играя, меч качали, вынимая из ножен.
Царь сошел с коня. Ресницы чуть трепещут у царицы.
Нежных щек ее зарницы светят как заря сама.
В паланкине, из сиянья, от нее ему лобзанье.
Он роняет восклицанья. Впрямь лишится он ума.
«Как хвалить мне солнце это? Приносительница лета.
Мысль безумием одета, посмотрев на этот свет.
Солнцелика, лунноясна, ты звездой горишь прекрасно.
Мне смотреть теперь напрасно на фиалки, розоцвет».
Сладко млели в самом деле все, которые глядели
На зарю в златом апреле. Этим видом взор пронзен.
Но еще, ещё взирая, чуют — тихнет боль живая.
Где не явится младая, к ней толпы со всех сторон.
На коней они садятся, к дому светлому стремятся.
Семь планет, — их блеск сравняться с этим солнцем только мог.
Красота без изъясненья. Тут их меркнет разуменье.
Вот и в место назначенья, в царский прибыли чертог.
Тинатин была на троне, и со скиптром, и в короне,
Вся как в светлой обороне в ворожащем взор огне.
От ее лучей горящих падал свет на предстоящих.
Царь Индийский средь входящих смелым солнцем шел к весне.
И с царицей молодою Таризель с своей женою
Речь ведет, и к ней волною — от обоих свет зарниц.
Не уменьшилось горенье, а достигло удвоенья.
И рубин в щеках и рденье, — и дрожит агат ресниц.
Тинатин зовет их оком на престоле сесть высоком.
«Решено всевышним роком, — Таризель промолвил ей, —
Что престол тебе, блестящей, ныне вдвое подходящий,
Здесь с зарею зорь горящей посажу я льва царей».
Ликованье в этом звуке. И берут за обе руки
Светлоликого, и муки по желанной разошлись.
Двое их как в светлых дымах, лучше зримых и незримых.
Лучше всех в любви любимых. Лучше, чем Рамин и Вис.
С Автандилом так сидела дева робко и несмело,
И мгновенно побледнела, сердце ходит ходуном.
Молвит царь: «Зачем стыдлива? Слово мудрых прозорливо:

«Любит если кто правдиво, так конец горит венцом».
Ныне бог да даст вам, дети, десять дружно жить столетий,
В славе, счастии, и в свете, и не знать болезни злой.
Быть не шаткими душою, в ветре дней пребыть скалою.
И чтоб вашею рукою был засыпан я землей».
И наказ дает дружинам: «Автандил вам властелином,
Волей бога, с ликом львиным, ныне всходит на престол.
Я уж стар, и мне затмение. Так воздайте знак почтения.
И чтоб верность он служенья в смелых вас, как я, нашел».
Воздавали честь дружины. «Тем, что наши властелины,
Чрез кого наш свет единый, да пребудем мы землей.
Возвеличен ими верный. Ток врагов рекой безмерной
Прочь отброшен. И примерной карой всяк наказан злой».
И хвалу и знаки чести Тариэль вознес невесте.
Молвил деве: «Вот вы вместе. Брат мне верный твой супруг.
Будь и ты моей сестрою. Я твой путь щитом покрою.
Если ж есть кто с мыслью злою, чрез меня исчезнет вдруг».

47. Сказ о свадьбе Автандила и Тинатин, волею Царя Арабского

Ныне светит огнеокий Автандил как царь высокий.
Взором черным с поволокой светит рядом Тариэль.
Нэстан-Джар, прелыденье взглядам, с Тинатин сияет рядом.
Мир земли стал райским садом, две зари — один апрель.
Вот несут хлеб-соль солдатам. Под ножом, стократ подъятым,
Бык, баран, числом богатым, пали. Счесть ли? Мох сочти.
Всем несут дары-даянья, по достоинству их званья.
И на лицах всех — сиянье, точно солнце на пути.
Гиацинтовые чаши. Из рубина кубки, краше
Зорь весной. Кто души наши усладит хвалой всего.
И сосудами цветными, и блюдами вырезными,
Спевши строки, молвит ими: «Праздник — тут, гляди в него».
В песнопеньях диво-девы. И кимвалы льют напевы.
Скорби здесь не сеют севы. Гул веселия кругом.
Здесь даянье не утрата. Груды яхонтов и злата.
В ста ключах вином богато брызжет пышный водоем.
Никого, кто был без дара. Хром ли, нищ ли, всем есть чара.
Шелк и жемчуг. Блесков жара, кто ни хочет, всяк бери.

Солнце трижды в небе плыло. Дружкой был для Автандила
Царь Индийский. В смехе сила, от зари и до зари.
Чуть оставивши постелю, снова к играм, снова к хмелю.
Царь Арабский Тариэлю молвит: «Солнечно Нэстан.
Царь царей ты солнцелицей. Царь царей и царь царицы.
Мы пред вами — прах темницы. Лишь от вас нам пламень дан.
На одной черте с царями, не должны сидеть мы с вами.
Вот ваш трон, а здесь мы сами». Он престолы разместил.
Тариэль на месте главном. Ниже, за самодержавным,
Автандил с сияньем равным, Тинатин, огонь светил.
Царь Арабский сам хозяин. Хлебосолен, краснобаен.
Всем прием здесь чрезвычайен. Для него никто не мал.
Никого не спросит: «Кто ты?» Хвалят все его щедроты.
С Автандилом, без заботы, сел Фридон и с ним блистал.
Дочь индийскую с супругом царь дарит. Над вешним лугом.
Солнце встанет пышным кругом, изумрудный озарен.
Вне числа и описанья все роскошные даянья,
Скиптры, полные сиянья, блеск пурпуровых корон.
В ряд с уделом вознесенных те дары: камней зажженных,
Римской курою снесенных, дал он тысячу для них.
И в дарах не безоружен, дал он тысячу жемчужин,
Лик с яйцом от горлиц дружен тех жемчужин отливных.
Также тысячу отборных, неподдельных, непритворных,
И как ветер степей проворных, тех арабских скакунов.
А Фридону — с жемчугами девять блюд, полны с краями,
С десятью еще конями, седла — блеск, превыше слов.
Царь Индийский, в знак почтения, воздает благодаренья,
Истов, нет в нем опьяненья, хоть испил вина царя.
Длить ли мне повествованье? Целый месяц ликованье.
Самоцветы льют сиянья, жив рубин, огнем горя.
Грусть и радость порубежны. Тариэль, как роза, нежный,
Дождь свежая белоснежный, Автандила с вестью шлет
К Ростэвану: «Быть с тобою было радостью большою.
Но страной моей родною враг владеет, грозен гнет.
Те, чей ум — осведомленье, кто знаток в игре боренья,
Принесут уничтоженье тем, кто в знаньи скудно плох.
Пресеку я путь прорехам, и вернусь к твоим утехам.
Овладеть бы лишь успехом. Да поможет в этом бог».
Ростэван сказал: «Владыка, для чего смущенье лика?

С звуком радостного клика, войско все пойдет толпой.
Автандил пойдет с тобою. И промчитесь вы грозою
Тех разя, кто мыслью злою был изменник пред тобой».
Автандилу отвечая, Тариэль сказал: «От рая
Кто ж уходит? Сохраняя те хрустальные плоды,
Ты ли, солнце, что с луною лишь недавно порою
Слито, — в путь пойдешь со мною, убегая от звезды?»
Автандил сказал: «Лукавишь, говоря — меня оставишь.
Сам уйдя, меня ославишь: «Он остался там с женой.
Он таков. Судьба супруга». Чтобы кто оставил друга,
Будь он с Севера иль с Юга, — стыд сказать, какой дрянной».
Тариэль блеснул улыбкой. Точно роза влагой зыбкой
Иль серебряною рыбкой заигравшая волна. Молвил:
«Мне с тобой разлука, о тебе томленье, мука.
Так со мной же. В том порука, что судьба у нас одна».
Автандил созвал дружины. Встали все как строй единый.
Экий выводок орлиный. Тут сто тысяч есть бойцов.
С хваразмийскими бронями, и арабскими конями,
Позвенели стремями, и к войне тот строй готов.
Две сестры в любви, бледнея, расставаясь, пламенея,
К груди грудь, и к шее шея, плачут, сердце их клялось.
И у тех, кто видит это, — что в разлуке май и лето, —
Нет в глазах скорбящих света, в зреньи все в душе сожглось.
Если с Утренней Звездой Месяц вровень над чертою
Гор, раскинутых грядою, вместе путь ухода им. Если ж
Месяц зачарован, не уходит, как бы скован,
И Деннице заколдован путь возврата к золотым.
Тот, кто создал их такими, кто велел пребыть им — ими,
Повеленьями крутыми может их разъединить.
Вот совсем они склонились. Роза с розой нежной слились.
Те, что были там, дивились. Нити две, едина нить.
Нэстан-Дарэджан сказала: «Если б я тебя не знала,
Я бы рано не вставала, расставаясь здесь с зарей.
Напишу. Пиши мне строки. Будем мы теперь далеки.
Я тобой — в горячем токе. Ты, вдали, зажжешься — мной».
Тинатин сказала: «Взгляда солнцесветлая услада.
Правда ль нам расстаться надо? Как оставлю жизнь мою?
Не о днях молю я бога. Лучше смерть пусть глянет строго.
Дней тебе пусть даст он много. Столько, сколько слез пролью».

И опять одна другую предавая поцелую,
Делят скорбь они двойную. И оставшаяся здесь
Взор к ушедшей устремляет. Оглянувшись, та сгорает,
К ней свой пламень посылает. Кто рассказ доскажет весь?
Ростэван, средь вздохов шумных, был безумнее безумных.
Он в сомненьях многодумных изливал кипенье слез.
Тариэль, грустя мечтою, был Ущербною Луною.
Нежной снежною волною лепестки струились роз.
Тариэля обнимая, царь целует, цвет сжимая.
Говорит: «Виденьем мая был ты здесь и сном весны.
Ты уйдешь — и вот терзанья. В двадцать раз сильнее страданья.
Чрез тебя существованье, и тобой мы сражены».
Тариэль при расставанье, шлет царю с коня прощанье.
От всеобщего рыданья оросились луга.
Говорят ему солдаты: «Поспеши к заре, когда ты
До зари идешь». Трикраты грустны нежные снега.
С Автандилом и Фридоном Тариэль спешит зеленым,
Уж вперед идущим лоном, с ними людный караван.
Восемьдесят тысяч смелых — вороных коней и белых
Устремляют до пределов тех иных далеких стран.
И уходит путь-дорога. Хоть людей на свете много,
Нет таких троих у бога. Быть им раз лишь суждено.
Всяк, кто встретится, в мгновенье изъявляет подчиненье.
В вечер — их отдохновенье. И не сливки пьют, вино.
Дар блестящий, дар веселый, Тариэль с женой, как пчелы,
Мед снискали, те престолы, лучезарных семь число.
Пышность этих утешений — отдых им от всех мучений.
Не поймет тот наслаждений, кто не ведал близко зло.
Глянь туда, где эти двое. Что здесь солнце золотое.
Весь народ, в великом рое, здесь приветствует царя.
Бьют в литавры, в барабаны. Кличут трубы. Клики рьяны.
Все на пир великий званы. В этих двух для всех заря.
Приготовили два трона. Автандила и Фридона
Усадили. Волны звона. Восхваление владык.
Все рассказ о них узнали. Все поведаны печали.
Повесть дивную встречали — одобрение и клик.

Под игранье свирели веселились, пили, ели.
Свадьбу праздновать умели. Праздник свадьбы — свет сердцам.
Четверым — подарок равный, достоверный, достославный.
А еще рукой державной — дар просыпан беднякам.
Автандила и Фрид он а хвалят. Честь для них поклона.
«Вы, — им вторят, — оборона». Всех индийцев им почет.
Смотрят все на них с почтеньем. Властным служат с поклоненьем.
Все просторы их хотеньям. Каждый к ним с любовью льнет.
До Асма, сестре в неволе, разделительницы доли,
Царь Индийский молвит: «Боле, чем твоих свершений круг,
Сын отцу и мать для сына не свершит. Так воедино
С нами правь, твоя — седьмина. Нежный с нежным, с другом друг.
Так цари над той седьмою частью. Нам же будь слугою
И кого своей душою мужем выберешь, возьми».
Пав к ногам его, целует их Асма. «Тобой ликует
Жизнь моя и торжествует. Службу дав, не отними».
Эти трое, побратимы, подчиненными любимы,
Веселятся. Но уж дымы грусти знает Автандил.
К Тинатин летит мечтами. Уж ни чудо-жемчугами,
Ни горячими конями больше рок ему не льстил.
Тариэль его томленье и к избраннице стремленье
Замечает: «Омраченье вижу сердца твоего.
Тайных семь твоих печалей мне еще восьмую дали.
Счастье было, счастье взяли. Разлучимся, нет его».
И Фридон для удаленья также просит позволенья.
«Я домой хочу. Но мленье сердца — к этому двору.
Каждый раз, как старший, будешь звать меня, слугу пробудишь,
Лань к ручью прийти понудишь, в день, дабы унять жару».
Автандилу для Ростэна — малых ценных мантий смена,
И сосуд, где емкость плена держит яхонты в числе.
«Вот возьми, и в послушанье отвези мои даянья?»
Молвит тот: «Существованье без тебя — как жизнь во мгле».
Тинатин, как дар священный, от Нэстан покров бесценный,
Также плащ воздушно-пенный, лучезарнее зари.
Кто возьмет, тот взял не даром. Ночью солнечным пожаром
Светит. Нет предела чарам. Огонь, откуда ни смотри.
Автандил с коня прощался. С Тариэлем расставался.
В них обоих разгорался пыл расстанного огня.
И от слез индийцев травы влажны, — жаль им этой славы.

Автандил сказал: «Отравы мира — жалят, жгут меня».
Ехал он с Фридом рядом. И поздней, меняясь взглядом,
Разлучились. Всяк — к отрядам путь направил свой — к своим.
Ждали каждого утех. Радость полная в успехе.
В край арабский без помехи прибыл тот, кто в нем любим.
Автандил — в красивой силе. И арабы выходили.
Привечали. Тучки плыли и расстаяли сполна.
С ней сидел он на престоле. Что желать им было боле?
Свет верховный в этой доле. И корона им дана.
Три властителя друг друга навещали в час досуга.
Их желанья полность круга знали, светлые, во всем.
Устраняя все напасти, расширяли область власти.
Кто чужой захочет части, умирляли тех мечом.
Их дары — как хлопья снега, иль река, что грани берега
Залила. Повсюду — нега. Бедным — помощь, бич — над злом.
И вдова от них богата. И овец сосут ягнята.
Светом вся страна объята. Волк, кормясь, дружит с козлом.
Сказ о них — как сновиденье. Миг в ночи — его явленье.
Отошли, как блеск мгновенья. Век земной чрезмерно мал.
Все ж они сияли в яви. Я, певец села Рустави,
Из Месхети, песню славе здесь сложил и записал.
Для грузинской я богини, лунноликой, чьей святыне
Царь Давид, во всей гордыне блесков солнечных, слуга,
Ей, чьим страхом все объято от Востока до Заката,
Песнь сложил, в ней повесть сжата, для царицы — жемчуга.

Константин Бальмонт

Великие итальянцы и Руставели

Наклоняясь над глубоким колодцем Любви, и в зеркальной грезе вопрошая себя, кто из великих Красиволиких, начальных столетий нашего тысячелетнего цикла, заглянул в этот колодец так глубоко, что нашел бессмертные слова о Любви, среди всемирно прославленных я нахожу имена — Руставели, Данте, Петрарка, Микеланджело. И в звездной грозди четырех этих имен, сияющих, как полупрозрачные вазы, в которые заключен светильник, певучее имя Руставели мне кажется наиболее справедливо вознесенным. Мне хочется быть доказательным.

Между четырьмя этими гениями есть столько черт сходства в благоговейном отношении к Женщине и в поэтически-сердечном их положении по отношению к Любимой, что сравнивать их не только можно, но и должно. Каждый из них — на горной вершине высокой Любви, каждый из них песнопевец Любви, как благоговения, каждый разъединен с любимой, и любит в невозможности соединения. Беатриче — и Данте, Лаура — и Петрарка, Виттория Колонна — и создатель гигантских изваяний, который и в любовных канцонах не перестал быть ваятелем, только стал нежным, борец Михаил с именем ангела, царица Тамар — и поэт-крестоносец, влюбленный рыцарь, пронзенный любовью инок, смешавший в словесном поцелуе имя бога с именем любимой, народный певец, сазандар всей Грузии, Руставели. Четыре обожествителя Любви, знавшие лишь одно прикосновение к любимой, — влюбленный поцелуй души, через дрожащее музыкой слово, к имени любимой прикосновение такое преданное, такое лелейное, такое вечно-новое в своей повторности, что имена этих любимых стали звездами на Земле, и светят неисчислимым любящим, внося в их любовь отображенное благородство, как темная Луна от золотого Солнца навсегда сделалась золотистой и серебряной.

Данте любит Беатриче, эту ангелицу юнейшую, *quest' angiola giovanissima*. Он полюбил её ребенком, когда ему было девять лет, а ей восемь. Она явилась ему облеченной в благороднейший цвет, в пурпурный, опоясанная и нарядная, и через девять лет она явилась ему юною мертвой. В час ее смерти блуждают женщины, распустив свои волосы, Солнце меркнет, уступая свое место Луне, птицы падают в воздухе, ангелы улетаются на Небо с Земли, и пред ними к Небу восходит облачко, и все они поют «осанна». Позднее, когда все бури жизни пронесутся над поэтом, и, побывав в аду, он изойдет оттуда с обожженным лицом и горячим сердцем, Беатриче будет его

путеводительницей, его Серафитой на горных тропах духовного восхождения.

Все это тонко, изящно, возвышенно, как итальянская религиозная живопись, как самый итальянский язык, сладчайший, созданный им, певцом Беатриче, как веерные пинии на жемчужно-опаловом небе вечерней Италии, как цветные окна итальянских церквей, как паутинные логические построения высокой схоластики. Да, не вскрики Любви и не вулканное ее красноречие, а сладостно-холодное удовольствие поэтической математики. Беатриче безкровна. Это высокая греза, это благоговейная созерцательность, это священный талисман, благороднейшей работы медальон с красивым женским ликом и вложенной в этот малый ковчег прядью волос любимой. Но женщины тут, в конце концов, нет. Греза тут и греза где-то. Разъединенность сердца с грезой здесь меня не трогает.

Другой утонченник итальянского поэтического слова, без устали играющий словами Лаура и лавр, Петрарка, строит призрачные словесные замки, где много красивой резьбы, нарядных тканей, хорошие сады, хорошо настроенные музыкальные инструменты, и по садовым дорожкам здесь ласково бродить и мечтать. В его поэзии спокойно-прекрасные образы. Являя перед нами свою любимую, Петрарка с любующимся изяществом говорит, что глаза ее, когда они светят через покров, точно звезды, блуждающие в воздухе после ночного дождя. Белокурые локоны ее, свободно развившиеся вокруг ее шеи, и щеки, украшенные нежным огнем, кажутся ему белыми и красными розами, только что сорванными и поставленными в золотой сосуд. Как испанские народные певцы, но менее страстный, чем они, Петрарка любит в стихах любовную систематику, распространенный конспект чаровании женского лица. Он не знает, смертная ли это женщина, или быть может богиня, оживляющая Небо вокруг себя. Ее голова — чистое золото, ее лицо — теплый снег, ее брови — эбеновое дерево, ее глаза — две звезды, ее рот — розы и звезды, вздохи — пламя, а слезы — кристаллы. Где во всем этом Лаура как Лаура? Где здесь горячий воздух любимой женщины, огненного ангела с женским лицом? Все это эстетический список общих черт красивого лица. Никакой Лауры никогда Петрарка не любил, да и сомнительно, чтоб он кого-нибудь когда-нибудь любил. Его сладость, в длительности, лишь раздражает. Он сам утверждает: «Кто мог сказать, как он горит, в огне он малом». Это, положим, не так. И из дыма пожаров можно успеть крикнуть, как горишь. Пример тому — Эдгар По и Бодлер в XIX веке, и Марло в XVI и в Грузии XII века — Руставели. Но как бы то ни было, в этом умном и изящном изречении Петрарка сам произнес себе приговор. Гораздо красноречивее в своих поэтических вздохах и убедительно-

вознесеннее в своих словесных достижениях, трогательный исполин, Микеланджело. За его словами чувствуется настоящая женщина, которая любима и которая достойна любви. И пусть пленительной итальянской женщине, Виттории Колонна, уже было чуть не пятьдесят зим, когда он полюбил ее, пусть ему было шестьдесят осеней, — Эрос, всегда юный, есть бог без возраста. А выросшая из этой суровой временности преграда между любящими вместе с множеством иных преград, вплоть до смерти любимой, лишь утончили и обострили, не ошибающийся и без того, резец провидца, знавшего Сибилл. И прав тот итальянец, который сказал: «Другие — говорят слова, Микеланджело говорит — вещи».

Кто силою меня приводит к ней?

Увы! Увы! В какой я трудной доле!

В тюрьме, хоть волен. Взят, хоть без цепей.

Не протянув руки, лишаешь воли.

Коль в цепи так легко тебе замкнуть сердца,

Кто защитит меня от нежного лица?

** * **

Скажи, Любовь, когда б душа у ней, —

Чей нежен лик, — и состраданье знала,

В ком было бы ума столь мало,

Чтоб не желать себя предать всецело ей?

А я? Чем мог бы ныне Служить ей больше, — если бы она

Была подругой мне, — когда, служба врагине

Люблю сильнее, чем страсть любить тогда б должна?

** * **

Красавица моя быстра и так дерзка,

Что в миг, когда, меня сразив, ее рука

Железо в сердце погружает,

И вот уж в ране острие,

В тот самый миг она глазами обещает?

Все счастье мое.

И когда Микеланджело говорит:

Amore e un concetto di bellezza

Immaginata...

Любовь есть представленье красоты

Воображенной, там, в сокровище сердца,

Сестра свершений, нежные черты, —

чувствуешь, что здесь прошла буря, мнущая сгущенный воздух грозы, и в стройной изобразительности разрешающая дожденосную тучу

освободительным ливнем с высокою радугой. Здесь прошла вплоть около души — Женщина, высоким сердцем преображенная и явленная в вознесении. В этом великий художник-ваятель певец Италии есть родной брат певца царицы Тамар и озарителя той страны, где в юных сердцах еще больше огня, а под длинными ресницами, затеняющими глаза, дрожат в сокрытии еще более пламенные грозы.

Разлучность Данте и Петрарки с любимыми их — вымышленная, это красивый обман. Разлучность Микеланджело и Виттории Колонна так же смягчена их возрастом, как Новолунный серп смягчит истомно-розовый воздух вечернего осеннего неба, как шелест золотых листьев сентября примиряет с грустью осени. А разлучность с красавицей-царицей, которая есть царица сердца, разлучность в огненную пору жизни, когда все хотенья создают пожар, разлучность при встречах, разлучность в разлуке, разлучность монастырских одиноких черных ночных часов, над которыми все же и в мрак льются звезды, над которыми серебром убирает черный бархат та сестра свершений, та творящая мечта, что сделала из 6.000 строк эпической поэмы одно лирическое стихотворение, одну пронзенную солнечным лучом любовную песню, — эта разлучность, с наклоненным над ней в веках утонченно-нежным ликом царицы Тамар, которая, будучи царицей семи царств, своими лилейными перстами вышивала ткани для бедных, есть лучший из четырех редкостных изысканно-прекрасных самоцветов, таящих свет Любви.

Руставели

Смотря пристальным взором в седую даль отошедших времен, человеческая мысль, сознательный помысл ума европейского, увидит один верховный образ — горный срыв величественного Кавказа и прикованного над пропастью, огненно мыслившего страстотерпца Прометея. Он, принеся людям, томившимся в темноте, самый лучистый дар, самый пламенный подарок, давший им возможность быть в человеческом облике полубогами, уже навеки слит с Кавказом. Скованный Эсхилом, раскованный певучим Шелли, Огненный Страстотерпец являет собой священный лик, наиболее близкий нашему сознанию в ряду вечных ликов, владеющий человеческой мыслью. Любовь и пытка в нем, любящая жертва неограниченная и безмерная, добровольно принятая сильным во имя того, что ему было дорого, во имя того, кого он любил.

И если в эту самую минуту где-нибудь в горной ложбине полудикий пастух, умеряя долгую грусть своей души, споет песенку о страдании любви, Огненный Страстотерпец, прикованный к горному срыву Кавказа, слышит его.

Любовь и пытка, любовь и разлука, любовь и свидание, любовь и смерть, — где в мире можно почувствовать острее прикосновение этого двойственного лезвия, как не в горах с их резкими изломами, с их внезапными поворотами и глубокими пропастями, научающими человеческое сердце понимать, что любовь не игра, а священный дар богов, исполненный суровой красоты, — что над горными утесами не летают маленькие птички, а парит ширококрылый орел, — что тому, кто полюбит, в сердце войдет копье.

В суровом, но и нежном, в мрачном, но и лучезарном как темные драгоценные камни, в многообразном царстве гор, где вознесенные вершины покрыты вечными снегами, а нижележащие склоны оделись в венчальный наряд цветущей алычи, должен был возникнуть народ, самая речь которого судорожно страстная, полная нагромождения согласных звуков, вырывается из человеческого горла с тем освободительным разъятием сжатости, с тем своеобразным чарованием взрыва, с которым горный ключ падает по камням, прорвавшись в граните. И там, где житель равнины, убаюканный своими полноводными реками и неоглядною ширью степей с их качаньем ковыля, будет строить свою речь на музыке **гласных**, горец, неизбежно, будет предаваться радостному ощущению дикой силы нагромождаемых **согласных**.

Четыре основные понятия, выраженные в русском языке словами — **Солнце, Луна, Вода, Огонь** — грузин выразит словами, исполненными орлиного клекота и шуршания пламени. — **М'зэ, М'тварэ, Ц'хали, Цец'хли.**

Красиво-сильные русские слова **Горнило, Наковальня, Рокот**, чрез сгромождение звучных согласных делаются еще красивее и еще звучнее, возникая в горных теснинах грузинской речи: Брдзмэди, Грдэмли, Гргвинва. И даже в те минуты, когда человеческое сердце начинает нежно лепетать о своей влюбленности другому человеческому сердцу, я построю нежнейшие слова, основанные на гласных и сладостной согласной Л — «люблю тебя, милая», — а грузин будет восклицать, с журчаньем ручья и с свистом ветра, — «Мик-һ-вархар, дзвир-пасо!».

И когда грузин скажет — «Дасацкиси шукиани сик-һ-варулис рогорц нази дасацкиси маисиса», — я могу подумать, что это — приветствие, обращенное к вождю, возвращающемуся с битвы, а между тем это лишь ласковый лепет любовного чувства, выражаемый по-русски в словах —

«Начало светлое Любви —
Как нежное начало Мая».

В этой красивой стране, замкнувшейся в великолепной раме гор, Моря, Солнца и Луны, — с народом, говорящим на языке, исполненном мощной выразительности, с великим историческим прошлым, — в этой стране, которую сама судьба поставила защитительным оплотом между Азией и Европой, где скалы учат силе, а цветы учат нежности, семь столетий тому назад возник, в селении Рустави, один из первых в Европе крестоносцев Любви, рыцарь своей царицы, которая была царицей его сердца, опьяненный Солнцем и Луной, восхвалитель высокого имени Тamar, Шота Руставели.

«Носящий барсову шкуру» — название его поэмы. Это он сам — красивый барс, всегда готовый к меткому прыжку. Это он сам, взявший, как знамя, барсову шкуру, шкуру пантеры, зверя красивого и страшного, неожиданного в своих движениях и умеющего растерзать, — как красива, неожиданна, узорна и всегда порубежна с терзанием, Любовь.

Есть цветы, о которых можно говорить без конца, — и быть может не нужно говорить вовсе, — так они хороши. Роза, лотос, орхидея, пламецвет, — нужно ли их восхвалять? Мы их хвалим, однако, если не словами, так любовью. Узнать несколько стихов Руставели, значит полюбить его. Кто полюбит, тот хочет достичь, или хотя бы приблизиться. Так было и со мной.

Я впервые узнал Руставели в океанском просторе, невдали от Канарских островов, на английском корабле, носившем имя красиво-мудрой богини Афины, где я познакомился с Оливером Уордропом, который дал мне прочесть находившийся при нем в корректурах английский перевод «Барсовой шкуры», сделанный с великой любовью его сестрой, Марджори Скотт Уордроп. Прикоснуться к грузинской розе в просторе океанских зорь, при благом соучастии Солнца, Моря, Звезд, дружбы и любви, и диких вихрей, и свирепой бури, это — впечатление, которого забыть нельзя.

Вернувшись в Россию, я посетил Грузию и, ободряемый в трудной задаче грузинскими друзьями, приступил к подробному изучению великой поэмы Руставели. Я перевел из нее отдельные песни. Я перевожу ее целиком.

Можно ли, однако, что-нибудь перевести? Можно ли воссоздать — начертанием или красками — живое лицо? И нет, и да.

Сервантес говорит, что всякий перевод похож на узорную ткань, показываемую с изнанки. Шелли говорит, что желать перевести что-нибудь в области поэзии, это то же самое, что, пожелав получить аромат фиалки, бросить фиалку в плавильник. Это так. Но есть ткани красивые и с лица, и с изнанки. И наряду с лесной фиалкой, мы имеем в нашей жизни дух фиалки,

воссозданный в благовонии. Нельзя воссоздать живое лицо способами, которые называются, несправедливо называются, точными, — фотографией или наложением гипсовой маски. Но можно воссоздать его творчески, если я художник, и смотрю на изображаемое мною лицо напряженно-зорким магнетическим взглядом художника.

Я перевожу поэму Руставели размером подлинника, лишь с некоторым изменением в порядке рифм. В четырехстрочии Руставели, **восьмистопный трохей**, четыре раза повторяется одна и та же рифма, — я преломляю каждую строку рифмой, повторяемой трижды в каждом двустрочии, причем конец каждой второй и четвертой строчки связан, кроме того, самостоятельной рифмой. Таким образом, в каждом четырехстрочии у меня восемь рифм, и в шести тысячах строк всего текста Руставели, в русском ее лице, будет двенадцать тысяч рифм. Эта добровольно наложенная на себя тяжесть выполнения вызвана не произвольною прихотью, а желанием дать в русском стихе достойное отображение пышной красоты, мною увиденной, звуковую равноценность, которой Руставели достигает, опираясь на большую звучность грузинских слов, построенных на мужественной силе согласных. Быть может это — задача невозможная, но старинные испанцы говорили: «Los imposibles me gustan», «Quiero veneer los imposibles», «Невозможное мне нравится», «Люблю побеждать невозможность».

Некоторые особенности художественного мира Руставели

Века отделяют нас от эпохи создания «Витязя в барсовой шкуре», но и сегодня он остается одним из самых живых поэтических творений, подтверждающих бессмертие человеческого чувства.

В этой великой книге, синтезирующей мудрость и поэзию, наиболее полно проявился творческий гений грузинского народа, его неутолимая жажда красоты и добра.

Овладение не только вершинами национальной культуры, но и общечеловеческими универсальными ценностями ставит Руставели, как поэта и мыслителя, в один ряд с величайшими гениями мировой литературы.

Грузинский народ всегда хорошо понимал и понимает значение «Витязя в барсовой шкуре», его особое место в духовной жизни Грузии. Вот почему на протяжении стольких веков свято берегут грузины это произведение, как самое драгоценное сокровище своей национальной культуры. Нельзя не вспомнить в связи с этим слов Ильи Чавчавадзе, назвавшего «Витязя, в барсовой шкуре» незыблемой твердыней национального самосознания и

гордости, которую мы обязаны беречь как зеницу ока. Сегодня слова эти обретают новый смысл: многое сделано в наши дни для того, чтобы Руставели и его творение получили должное признание за пределами нашей родины, но еще многое остается сделать в этом направлении.

Этот небольшой очерк, предлагаемый вниманию читателя, не претендует, разумеется, на всестороннюю полноту охвата соответствующего материала; мы поставили перед собою гораздо более скромную задачу — отметить некоторые своеобразные особенности художественной системы произведения Руставели и вообще грузинской классической поэтической культуры.

* * *

Классическая эпоха истории грузинской литературы подвела итоги длительного периода исторической жизни грузинского народа и возвела ее на новую ступень. В этом смысле указанную эпоху справедливо называют «золотым веком» грузинской культуры. Ей предшествовало широкое культурное строительство. Еще на заре XII века мудрый правитель, блестящий полководец Давид Строитель сумел объединить свою разрозненную родину, сделав ее могущественным государством. Дело, начатое Давидом, достойно продолжили его преемники. Апогея же своего могущества Грузия достигла в эпоху царицы Тамар.

В то время как Византия в силу определенных исторических причин клонилась к упадку, роль и значение грузинского царства на всем Ближнем Востоке и за его пределами постепенно возрастали, что признавали и его друзья, и недруги.

Характерны слова французского миссионера XII века Анселуса о царе грузин Давиде (имеется в виду Давид Строитель), который «наподобие предкам своим владел вратами Каспия, этой преграды, воздвигнутой против гога и магога; то же самое делает ныне сын его, страна которого, так сказать, наш передовой оплот против мидийцев и персов».

Деятелям той эпохи были чужды узость и ограниченность воззрений. Грузинские политики смотрели далеко вперед и помышляли не только о битвах и захватнических войнах. Правители грузинского царства, создавшие единое государство, несмотря на военное могущество, проявляли большую терпимость по отношению к другим народам. Это было довольно необычно по тем временам, тем более в атмосфере восточного фанатизма, господствовавшего вокруг. Так, например, в столице Грузии Тбилиси бок о бок с грузинами свободно проживали представители многих национальностей; наряду с христианскими церквями в Тбилиси функционировали магометанские мечети и др. Охотно приезжали в Грузию

гости из разных стран, оживленный характер носили торговля и культурные связи. Понятно, сколь плодотворной должна была оказаться такая атмосфера в стране. Грузия с легкостью усваивала все новое и передовое, что появлялось в тогдашнем мире.

Экономический и политический подъем повлек за собой соответствующее культурное возрождение. Получили интенсивное развитие почти все роды искусства. Достаточно сказать, что блестящие памятники архитектуры, крепости, церкви и монастыри, разбросанные по всей стране, в большинстве своем были воздвигнуты в те времена. Даже простой перечень их дает представление о грандиозных масштабах строительства. Были созданы шедевры изобразительного, в частности фрескового, искусства и чеканки. Везде и во всем ощущалось назревание нового подъема духовной культуры и не было силы, способной остановить могучий натиск свободной мысли.

Качественно новых высот достигли грузинская литература, философия, наука. Ими ставились вопросы, волновавшие мыслителей в самых развитых странах тогдашнего мира.

К сожалению, многие достижения той эпохи были стерты годами следовавшего лихолетья, но даже того, что сохранилось, более чем достаточно для подтверждения несомненного взлета культуры. До наших дней дошли переводы и оригинальные произведения Эквтиме и Георгия Атонели, Арсена Икалтоэли и Иоанна Петрици — выдающихся грузинских теологов и философов. Донесены до потомков замечательные по содержанию и виртуозные по форме оды Шавтели и Чахрухадзе, в которых подчеркивается особая миссия могучего грузинского государства. Фантастические подвиги негибавшего в бою витязя-рыцаря описал автор «Амиран-Дареджаниани» Моссе Хонели. Грузинский читатель ближе познакомился с византийскими, а через них — с античными художественной литературой и философией, с лучшими образцами восточной поэзии. Саргису Тмогвели приписывается блестяще выполненный перевод персидского любовного романа «Вис о Рамин» («Висрамиани»).

Именно в ту эпоху был написан и бессмертный «Витязь в барсовой шкуре»^{*} Шота Руставели, увенчавший собою блестящее развитие грузинской литературы.

* * *

«Витязь в барсовой шкуре» — результат развития древнейшей грузинской культуры, органически слившейся в себе, на богатой и самобытной национальной основе, все величайшие достижения цивилизаций Востока и (через Византию) Запада.

Шота Руставели, выразитель лучших стремлений самой прославленной эпохи в истории грузинского народа, сложил бессмертный гимн благороднейшим чувствам человека: дружбе и любви. Он одним из первых в истории средневековой поэзии утвердил новый идеал совершенного человека.

Мудрость и поэзия безраздельно господствуют в его произведении. Идеальные герои проникнуты возвышенным ренессансным духом. Торжествующий оптимизм, негибаемая стойкость в борьбе против жизненных невзгод — краеугольный камень мироощущения «Витязя в барсовой шкуре», и это делает Руставели и его поэму бессмертными.

Коснемся вкратце тех основных вопросов, освещение которых в «Витязе в барсовой шкуре» делает его величайшим художественным явлением в истории средневековой литературы.

События, о которых повествуется в поэме, разворачиваются сюжетно с величайшим мастерством.

Поэма посвящена неповторимо прекрасной любви Нестан и Тариэля. Повествование начинается с описания событий, происходящих в Аравии. Далее в действие вводится, в атмосфере таинственности и загадочности, чужестранный витязь, Тариэль, и поиски следов этого героя, исчезнувшего так же внезапно, как и появившегося, создают напряженную атмосферу. Читатель с интересом следует за отправившимся на поиски Тариэля Автандилом и узнает о трагической судьбе любви Нестан и Тариэля. Каждый отдельный эпизод несет совершенно конкретную, четко определенную художественную функцию, прежде всего — как составное звено в общей сюжетной цепи. Приключения героев обогащаются все новыми и новыми моментами, и каждый предшествующий эпизод служит логической подготовке последующего. Путем непрерывных, волнообразных, следующих друг за другом переходов повествование достигает своей кульминационной точки. Возьмем хотя бы первый эпизод — охоту Ростэвана и Автандила.

Из него мы получаем информацию, имеющую решающее значение. Автандил — рыцарь, не имеющий себе равных (на охоте он превзошел даже своего царя и воспитателя — Ростэвана), и несомненно, что в его лице Аравия имеет достойного полководца. Во время охоты Ростэван и Автандил случайно наталкиваются на незнакомого витязя, облаченного в барсовую шкуру, — и начинается новое сюжетное звено. Тинатин поручает своему возлюбленному (миджнуру) Автандилу разузнать, кто этот чужестранный витязь. Такой же прием строгой логической последовательности применяется и в последующих главах, что придает сюжету предельный динамизм и делает повествование увлекательным и интересным. Если сравнить творение

Руставели с восточными поэмами, в которых сюжетная линия по большей части имеет прерывистый характер, то превосходство его не может не броситься в глаза. Сопоставляя с этой точки зрения поэмы Низами и «Витязя в барсовой шкуре», известный востоковед А. Н. Болдырев совершенно справедливо замечает: «В поэмах Низами фабула играет далеко не первостепенное значение... действие в поэмах Низами очень замедленно, что дает возможность несложному сюжету быть развитым на протяжении нескольких тысяч стихов. В поэме Руставели наблюдается противоположная картина: там сложный, запутанный сюжет развивается в очень энергичном темпе на протяжении всей поэмы»^{*}.

Разгруженность повествования от излишних эпизодов отличает «Витязя в барсовой шкуре» и от западноевропейских рыцарских романов (как, например, «Парцифаль» фон Эшенбаха, «Ланселот» Кретьена де Труа и др.), в которых явно заметно увлечение авантюрно-приключенческими моментами.

Вместе с тем, в поэму попутно включаются и собственные авторские комментарии и лирические отклонения, что разнообразит и оживляет сюжет. Своеобразие придают поэме эпистолярные пассажи, среди которых особой поэтичностью отличаются письма Нестан (особенно прощальное ее письмо к Тариэлю из Каджетской крепости, полное мудрости и поэзии).

При жанровом определении «Витязя в барсовой шкуре» мы видим, что произведение это не вмещается в рамки героического эпоса, хотя в нем безусловно ощущаются элементы, характерные для древнего эпоса. В поэме мы находим, например, своеобразное проявление вековой борьбы Добра и Зла (хотя автор дает свою концепцию отношения к ним); к древней мифологии восходит мотив заключения красавицы в царстве зла, сближаемый поэтом с проглатыванием драконом Луны (этот образ также бытует в древнейших народных представлениях). Есть здесь и несколько эпизодов, отразивших элемент магии — в пещерах, отвоеванных у дэвов, герои находят волшебное оружие, которое должно помочь им сокрушить царство каджей, и т.п. Все это, однако, — только отдельные моменты. «Витязь в барсовой шкуре» и тут резко отличается от предшествовавших ему грузинских произведений героико-богатырского характера. Вспомним «Амиран-Дареджаниани» Мосэ Хонели, в котором элемент сверхъестественного представлен очень обильно. Сверхъестественным проникнуто почти каждое сколько-нибудь значительное произведение средневековой литературы как на Западе, так и на Востоке, не говоря уже о более древних временах. В немецком эпосе «Песнь о Нибелунгах» Зигфрид порой пользуется шапкой-невидимкой. Так же часто обращаются к

сверхъестественным силам герои «Вис о Рамин» Фахр-эд-дина Гургани и «Тристана и Изольды». Изобилуют элементами чудесного как героические, так и романтические персидские поэмы. Изложение событий в сравнительно реальной атмосфере — одна из характерных черт «Витязя в барсовой шкуре».

Как уже отмечалось, в отличие от древнего эпоса, в котором автор вроде бы «стоит в тени» и повествует о приключениях героев как посторонний и беспристрастный наблюдатель, в «Витязе в барсовой шкуре» заметна лирическая струя, часто встречаются случаи прямого вмешательства автора в ход повествования, когда он выражает собственные взгляды по тому или иному вопросу. Авторские включения усиливают художественное воздействие текста. Именно авторской ремаркой является блестящая строфа поэмы («Мир прискорбный. Рок бессонный. Что ты крутишься, взметенный?»). Она подготавливает определенный лирический настрой для «Песни Автандила», содержащей в себе трогательную жалобу на превратности бренного мира.

Руставели с особой силой проявляет свое глубокое знание сокровенных глубин человеческой души и с необычайно тонким искусством передает движение чувств. Фактически подобную же возможность использует автор, когда устами самого Тариэля рассказывает о пережитой им трагедии. Читатель становится очевидцем душевных страданий Тариэля, вспоминающего о том, как он влюбился в Нестан-Дареджан, а затем внезапно потерял ее. Этот прием наряду с чисто авторскими включениями усиливает лирическую струю поэмы. Тариэлю, который, потеряв Нестан, можно сказать, утратил нить связи с жизнью и покорно ждет, когда, наконец, кончится его земная пытка, тяжело вспоминать о своем прошлом, беречь старые раны, испытывать прежние душевные страдания, ровно бы утихшие благодаря тому, что герой покинул общество людей. Но он идет на жертву ради Автандила, проявляя верность возникшей между ними братской дружбе. Вместе с тем Тариэль видит в Автандиле влюбленного рыцаря, которому надо помочь. Ведь Автандил отправился на его, Тариэля, поиски по поручению своей возлюбленной, а рыцарский кодекс провозглашает сочувствие, самоотверженную помощь другу. По словам Тариэля:

...Посвящая брату силу,

Должно смерть принять, могилу. Здесь утрата не страшна,

Губит бог одной рукою, чтоб спасти кого другою.

Что бы ни было со мною, расскажу я все сполна.

Весь этот эпизод воспринимается как цельная лирическая исповедь и придает неповторимое своеобразие художественной структуре поэмы.

Иногда сюжетное развитие основано и на неожиданном эффекте. Вспомним первую встречу Тариэля и Нестан, при которой Тариэль потерял сознание.

Современному читателю такое неожиданное возникновение любви, как в наши дни говорят, с первого взгляда, может показаться непонятным, но для такого художественного творения, как «Витязь в барсовой шкуре», подобное развитие сюжета так же естественно, как и его возвышенный метафорический стиль. Своеобразием художественного стиля являются также описываемые в поэме чрезмерная (с современной точки зрения) чувствительность, плач и слезы, которые сливаются с морями, а также неожиданные взрывы любви, вызывающие нарушение душевного равновесия влюбленного героя. В таком контексте представлены герои Низами в его романтических поэмах; неиссякаемы, как море, слезы влюблённого Каиса. Не только первая, но и каждая встреча с Лейлой для Каиса подобна копьё, насмерть пронзающему сердце. Так же и в «Висрамиани»:

«Когда увидел Рамин лицо Вис, сердце его словно пронзила стрела длиной в одну стадию, он повалился с коня так легко, как листок. Пламя любви охватило ему сердце, выжгло ему мозг и унесло рассудок, во мгновение ока утвердилась в нем любовь. Отняла любовь у него сердце и душу. Из любви его выросло такое дерево, плодом которого были бегство в поля и безумство. И, упав с коня, он лишился сознания и долго лежал без рассудка».

Встреча Нестан и Тариэля, потеря последним сознания по даны таким же приемом. Как мы уже отметили, в этом состоит художественная особенность произведений данного типа, возникающая в результате гиперболизации образов и переживаний.

Хотя, наподобие древнего эпоса, в поэме против добра борются злые силы (каджи, дэвы), автор «Витязя в барсовой шкуре» неоднократно отмечает, что зло — явление временное, что оно лишено существенных черт бытия, поскольку мир сотворен через начала добра: «Как может творящий благо творить зло?» Более того: «Бог являет добро, не рождает зла». На оптимистической уверенности в торжестве добра основан и сюжет поэмы. Счастья нужно добиваться именно в этом мире, в реальной, земной жизни, и герои «Витязя в барсовой шкуре», преодолев множество препятствий, торжествуют победу над злом. Битва за освобождение Нестан воспринимается как бой за красоту, как освобождение добра и красоты из плена злых сил.

Для развития сюжета решающее значение имеет столкновение царя Индии Фарсадана с носителями идеи свободной любви Нестан и Тариэлем.

Неразумный шаг Фарсадана, — решение выдать свою дочь за сына хорезмийского шаха, — противоречит национальным интересам Индии и приводит к катастрофе. Это, однако, касается скорее внешней стороны движения сюжета. Реальный конфликт в поэме следует искать в духовной жизни самих персонажей, в определенном противопоставлении действия и бездействия, чувства и разума. Эта внутренняя борьба завершается победой идеальных героев поэмы. Поэтому интерес читателя направлен в сторону духовной жизни героев, создающей тот острый драматизм, без которого поэма Руставели не смогла бы возвыситься над всеми средневековыми приключенческими или любовными романами.

Сюжет «Витязя в барсовой шкуре» задуман весьма оригинально. Автор в прологе прямо заявляет, что он вдохновлен царицей Тамар и посвящает поэму именно ей, предмету своей возвышенной, платонической любви:

*Не всedневными хвалами, а кровавыми слезами,
Как молитвой в светлом храме, восхваляю в стихах ее.
Янтарем пишу я черным, тростником черчу узорным.
Кто к хвалам прильнет повторным, в сердце примет он копье.*

Это свое высокое чувство поэт воплотил в художественных образах и создал величественный гимн любви. Метафорическому образу Нестан (Нестан — разъяренная пантера) соответствуют произнесенные в адрес Тамар слова, с которыми читатель знакомится в первых же строках поэмы:

*Только ей — его горенья. Пусть же слышит той хваленья,
В ком нашел я прославление, в ком удел блестящий мой.
Хоть жестока, как пантера, в ней вся жизнь моя и вера,
Это имя в ток размера я позднее внесу с хвалой.*

Как часто отмечают, Руставели и Данте в данном случае исходят как будто из одинаковых позиций (чистое чувство, направленное к идеальной женщине), но осуществляют свой замысел в различной поэтической форме. Хотя «Витязь в барсовой шкуре» непосредственно ничего не рассказывает нам о Тамар, он отражает чувства Руставели к ней и представляет их во вторичной, или «аллегорической», форме. Фактически это, пишет Морис Боура, есть драматизация чувств в героической обстановке, признание в любви через повествование о возвышенной любви. Мы неизбежно вспоминаем Данте, хотя Руставели отличается от него тем, что предмет своего поклонения он исключает из повествования, — он мог бы согласиться с Данте в том, что и он...

*...Амуром вдохновлен,
Все слушает его, и так поет,
И страсть свою так миру возвещает.*

Обе поэмы исходят из идеальной любви, из широко развернутого повествования, но при этом Руставели более последовательно проводит собственную концепцию любви^{*}.

Все это говорит не только о своеобразии поэтического замысла Руставели, но и об оригинальности его сюжетного воплощения. Становится понятным сделанное в 9-й строфе пролога указание на то, что поэма будто бы представляет перевод «персидской повести». Руставели тем самым смягчил ранее сказанные слова, что поэма — восхваление Тамар, и ссылкой на якобы «существующий источник» обеспечил себе свободу действий. Вместе с тем он подчеркнул реальность событий, о которых повествуется в поэме, что в глазах читателя того времени повышало ценность произведения.

Эта строфа породила в свое время определенные недоразумения в вопросе разыскания источников поэмы. Не говоря уже о том бесспорном факте, что сюжета такого типа не оказалось в персидской литературе и в поэме явно заметна антиперсидская тенденция (эпизод с хорезмийцами, убийство жениха), поэма Руставели своей идейной целенаправленностью целиком и полностью возникла на грузинской национальной почве. Кроме того, что поэма посвящена царице Тамар, мы видим: социальная среда, представленная в поэме, точно совпадает с исторической действительностью Грузии XII века. Об этом же свидетельствует освещение в поэме таких вопросов, как возрастание роли женщины в обществе, рыцарское преклонение перед нею, что было совершенно чуждым для исламского Востока.

* * *

Все это, однако, отнюдь не означает, что Шота Руставели не усвоил многого как из восточного, так и из западного мира. При исследовании литературы XII века, и в частности «Витязя в барсовой шкуре», ни в коем случае нельзя оставлять без внимания как неоплатонизм или христианскую теологию, так и восточный, в частности — персидский эпос.

В первую очередь следует коснуться «Витязя в барсовой шкуре» как художественного творения, поскольку именно в данном аспекте проявляется отношение восточного эпоса к поэме Руставели.

Как говорилось, «Витязь в барсовой шкуре», который, на первый взгляд, можно рассматривать в контексте богатырского эпоса и рыцарско-любовного романа, по существу не что иное, как произведение, предшествующее современному роману, хотя в смысле поэтической формы оно создано по канве романтической поэмы. Несмотря на это, «Витязь в барсовой шкуре» в некоторых отношениях стоит близко к своим предшественникам: так, например, своей художественной структурой он проявляет определенную

близость к восточным романтическим поэмам, наиболее блестящим образцом которых нельзя не признать «Лейлу и Меджнуна» Низами Гянджеви. Мы могли бы выделить в «Витязе в барсовой шкуре» сказ о любви Тариэля и, в заключение, — о его бегстве в пустыню, в художественном отношении поразительно близкое к восточным поэмам и, в частности, к упомянутой «Лейле и Меджнун» Низами. Мы видим в образе Тариэля много черт типа миджнура, выработанного на Востоке. Что же касается первой половины его приключений, то и здесь такое же положение, — до тех пор, пока в уже по существу завершившуюся судьбу Тариэля не вмешивается посланная самой жизнью активная сила в лице Автандила. Тут, как и в других принципиальных вопросах, «Витязь в барсовой шкуре» диаметрально противопоставлен восточной поэме и стремится утвердить совершенно другие идеи (как известно, и у Каиса была возможность снова вернуться к жизни, хотя бы при активной помощи других, но сама целенаправленность поэмы Низами уже отвергала подобное решение вопроса).

Одним из признаков ренессансного духа «Витязя в барсовой шкуре» считают то, что в поэме проявляется особый интерес к человеку, его жизни. Это отчасти правильно, и с такой точки зрения на автора «Витязя в барсовой шкуре», естественно, оказал определенное влияние роман Фахр-эд-дина Гургани «Вис о Рамин» или, лучше сказать, его перевод «Висрамиани», который во времена Руставели уже давно должен был иметь хождение в культурных кругах Грузии. «Висрамиани», в котором все внимание уделено земной жизни (с некоторой долей чрезмерного натурализма), не мог не дать определенного материала автору «Витязя в барсовой шкуре» (хотя Шота Руставели в принципиальных вопросах проповедует совершенно иные этические нормы и весьма далек от того понимания плотской любви, какое представлено в «Вис о Рамин»). Мы уже не станем останавливаться на определенном влиянии, которому подвергся стих Руставели, его метафористика и т.д., со стороны восточной поэтики.

Как факт, нужно отметить, что литература классической эпохи и, в частности, созданный явно под воздействием ренессансных идей «Витязь в барсовой шкуре», наряду с соответствующей социально-политической почвой, в идейном отношении питались богатыми грузинскими литературно-фольклорными традициями, хотя, повторяем, не следует забывать также философского направления христианского неоплатонизма и восточной, в частности персидской, поэзии.

Читатель «Витязя в барсовой шкуре», хотя бы немного знакомый с историей мировой цивилизации Средневековья, не может без удивления останавливаться на тех эпизодах поэмы, где проявляется необычайное

свободомыслие, отказ от всяческих официальных догм. На страницах поэмы возникают люди, чуждые какого бы то ни было религиозного фанатизма. Вспомним, что сюжет поэмы разворачивается на таком широком пространстве, которое включает как известные нам страны: Индию, Аравию, Персию (Хорезм) и Северный Китай (Хатайя), так и страны, созданные фантазией автора: Мульгазанзар (царство Фридона), Гуланшаро (купеческое царство) и т.п. Герои поэмы исповедуют магометанство, несколько раз упомянут в поэме Коран, Тариэль на Коране присягает Нестан в верности, а в другом месте описано, как служители ислама («мукры и муллимы») пытаются исцелить Тариэля, заболевшего от любви (служители Магомета упоминаются даже с некоторой усмешкой). Правда, поскольку действие происходит в мусульманских странах, автор соблюдает внешнюю точность, но стоит присмотреться внимательней, как станет ясно, что сам автор поэмы стоит на почве христианского вероисповедания. В совершенно неожиданных ситуациях, когда внешне изображается действительно мусульманский мир, все-таки проявляется точка зрения христианского автора (например, в одном месте упомянут христианский религиозный праздник, с которым Тариэль сравнивает торжества в Индии по случаю приезда жениха из Хорезма; в поэме несколько раз цитируется Библия, имеется ссылка на апостола Павла и т.д.).

Главное все же в том, что хотя Руставели в поэме не упоминает некоторых обязательных для христианской церкви догм или символов (христианской «троицы» и др.)^{*}, автор наделяет бога такими эпитетами, которые проистекают из языка христианской литературы.

Более того, и в действиях самих персонажей не соблюдается религиозная точность; они часто мыслят понятиями, разработанными именно в лоне христианской религии, и вообще в поэме христианско-литературных элементов больше, чем мусульманских. Когда герои поэмы молятся богу, легко заметить, что эти «мусульмане» произносят по существу слова христианской молитвы (проф. М. Гогиберидзе). Вспомним отрывок из молитвы Автандила — и это станет совершенно ясно:

*Он молился: «Бог могучий, бог земель и неба жгучий,
Ты пошлешь порою тучи. Ты пошлешь порой лучей.
Царь ты царств неизреченный, непонятный, неизменный,
Дай быть твердым в муке пленной, вождь сердечных всех речей.*

В руствелологии отмечен ряд случаев, когда Руставели, обращаясь к богу, явно следует за христианской литературой, в которой издавна был выработан особый поэтический язык для этой цели.

Однако именно тот факт, что в поэме действуют герои магометане, свидетельствует не об отказе поэта от христианства вообще, а о его веротерпимости, которая, как уже отмечалось выше, была обусловлена определенным политическим направлением грузинского государства того времени. Настроение, свободное от религиозного партикуляризма, придающее «Витязю в барсовой шкуре» весьма своеобразный оттенок, давно уже было замечено в руствелологии (напр., его отмечал в 1912 г. редактор английского перевода Оливер Уордроп)^{*}.

«Витязь в барсовой шкуре» является неопровержимым документом, свидетельствующим о глубокой философской образованности автора. Шота Руставели прекрасно знаком с греческим неоплатонизмом, этим наследием греческой античной философии в средневековом мире, который и в Грузии имел блестящих представителей. Н. Я. Марр в специальной работе, посвященной одному из выдающихся грузинских философов Иоанэ Петрици, которого он считал неоплатоником, отмечал, что грузины в X-XI вв. в области философии занимались исследованием тех же вопросов, которыми интересовались мыслители передовых христианских стран той эпохи как на Востоке, так и на Западе; грузины отличались от европейцев тем, что в те времена они ранее других откликались на новые направления философской мысли и работали во всеоружии образцовой для своего времени критики непосредственно с греческими подлинниками.

Автор «Витязя в барсовой шкуре» хорошо знаком со столь нашумевшей впоследствии в Западной Европе ареопагитической христологией (по гипотезе Нуцубидзе-Хонигмана, автором этой последней был деятель V века Петр Ивер). Явные факты знакомства автора «Витязя в барсовой шкуре» с ареопагитическими сочинениями мы обнаруживаем не только в виде сходства отдельных терминов, а и при отображении самой небесной иерархии (в поэме засвидетельствован и автор ареопагитических книг). Шота Руставели проявляет и близость к предшествовавшим ему «грузинским неоплатоникам», — в частности — выдающемуся грузинскому философу Иоанэ Петрици (Ш. И. Нуцубидзе). Он упоминает и восхваляет бога словами, какие были приняты в грузинской христианской литературе, но все же по своему основному направлению стоит ближе к христианскому неоплатонизму и в философском аспекте рассуждает о «земных» или «потусторонних» вопросах человеческой жизни.

Достаточно вспомнить имеющее глубокое философское содержание письмо Нестан к Тариэлю из Каджетской крепости, чтобы это положение стало ясно:

Помолись за меня богу, может, он избавит меня от бремени мирского,

От слияния с огнем, водой, землей и воздухом.

Пусть даст он мне крылья, я улечу и обрету желанное,

День и ночь буду созерцать сияние лучей солнца!

(Подстрочный перевод С. Иорданишвили)

Здесь явный отголосок проистекающего еще из античной философии учения о четырех элементах (Эмпедокл, V в. до. н. э.), которое в своеобразной форме вошло в неоплатонизм и христианство. Мир «блеска солнечного сияния» — не просто рай библейского христианства, а мистический мир, созданный философией религии. Руставели глубоко знаком как с неоплатонической, так и с христианской философией или теологией, на чем отчасти зиждется его мировоззрение.

Однако не следует забывать, что Руставели иначе смотрит на те проблемы, которые выдвинуло христианство (так же, как и вообще монотеистические религии, — конечно, с различными вариациями). Руставели чужды основные мотивы, которыми проникнуто христианство. Размышления о спасителе, о первородном грехе и о тщетности и суетности земного бытия для Руставели — преодоленная проблема. Так же преодолены им явно аскетические настроения неоплатонической философии (неоплатонизм справедливо называют философией смерти). Руставели смело поставил совершенно оригинальную для средних веков проблему места и судьбы человека в земной жизни и дал ей поистине ренессансное решение. И правда, не говоря уже ни о чем другом, сама постановка этой проблемы уже представляла собой игнорацию официальной религии. Ш. И. Нуцубидзе отмечает: «Конечно, в „Витязе...“ воспевается и рыцарство и любовь, но это не есть все, что служит в поэме предметом художественного изображения... Человек, его судьба, его жизнь — вот основная тема этой гуманистической поэмы раннего возрождения»^{*}.

Шота Руставели — великий певец жизни, земного счастья человека. Человек рожден для борьбы и для победы в этой борьбе. Земля создана «беспределной, многообразной, в разном цельной» для того, чтобы человек наслаждался ее красотой. Правда, человек может столкнуться с препятствиями и даже с тяжелыми страданиями, ниспосланными судьбой, но все это — временно, преходяще, все это вызвано «коварным мгновенным миром», правда, человеку помогает бог, который не даст ему погибнуть, но активная деятельность самого человека — важнейшее условие победы. Человек не должен смиряться в беде: «Что это за храбрец, если он не преодолеет горестей». Мужественному человеку подобает терпеть, сносить все горести. Человек, обладающий разумом и героическим духом, до конца испытает себя самого: «Какой мудрец убивал себя преждевременно!»

Человек пришел в этот мир, чтобы любить и знать цену любви. Любовь — великое благо, она облагораживает человека и побуждает его к добрым делам. «Любовь нас возвышает», — говорит Руставели и поет хвалебный гимн священному союзу дружбы, побратимства, без которого человеку в тысячу раз труднее преодолевать возникающие в жизни препятствия. Самоотверженный и верный друг будет счастлив и в этой жизни, и в потустороннем, вечном мире:

Смерти узкая тропинка не задержка, не заминка.

Дуб перед ней, или былинка, слабый, сильный, — скрутит нить.

Перед ней никто не правый. Юный, старый, скосит травы.

Лучше смерть, но смерть со славой, чем в постыдной жизни жить.

По мнению поэта, человек — венец творения, и он имеет полное право наслаждаться земными благами. Безграничная вера в человека — вот высший пафос «Витязя в барсовой шкуре». С этой позиции и следует оценивать Шота Руставели как величайшего гуманиста средневековья.

Достичь подобных высот было бы невозможно, оставаясь в рамках христианской религии или даже христианской философии. В окончательном освобождении Руставели от религиозной догматики и ограниченности решающую роль сыграла грузинская действительность XII в., которая после своеобразного «притеснения» христианства выдвинула новые, светские идеалы. Огромную роль в этом сыграла художественная интуиция самого поэта. Шота Руставели достиг новых высот свободного мировоззрения не только путем рефлексии и логического мышления, но и своей гениальной поэтической интуицией^{*}.

Краеугольным камнем мировоззрения Руставели является возвышенный гуманизм. Он с начала до конца пронизывает поэму «Витязь в барсовой шкуре», всю ее художественную систему. Им вдохновлены персонажи поэмы, которые поразительной силой своего явно ренессансного духа разрушают христианско-аскетические рамки средневековья. В этом смысле Руставели можно назвать замечательным предшественником того великого движения, которое возникло в последующие столетия и стало известно под названием европейского гуманизма.

* * *

В «Витязе в барсовой шкуре» доминируют два идейно-тематических мотива — любовь и дружба. Совершенно по-разному, в соответствии с этим, блистают в поэме две пары: Нестан-Дареджан и Тариэль, с одной стороны, и Тинатин с Автандилом — с другой. Рыцаря, каким его изображает поэма, нельзя себе представить без двух компонентов: он должен быть влюбленным и, вместе с тем, безупречным другом. На родине Шота Руставели благодаря

«Витязю в барсовой шкуре» такое представление твердо укоренилось. Когда говорят о «рыцаре», в первую очередь подразумевают героев «Витязя в барсовой шкуре»: Тариэля, Автандила и Фридона. Те же, кто познакомятся с этими героями, поймут, что рыцарь — это не просто герой, богатырь, движимый только желанием отличиться. Рыцарство, наряду с отвагой и героизмом, требует скромности, преданности и самоотверженности в дружбе; самые тонкие черты характера рыцаря проявляются в его почтительном отношении к женщине. Шота Руставели в своем «Витязе в барсовой шкуре» выдвинул эти качества на первый план и с огромной поэтической силой нарисовал возвышенный идеал рыцарства.

Аравийский военачальник, несравненный витязь Автандил влюблен в царевну Тинатин, тщательно скрывая от всех чувство, — так диктуют ему законы рыцарства, кодекс истинной любви. Не словами, а делом, героическими подвигами должен он доказать возлюбленной свою вечную преданность. Автандил добросовестнейшим образом выполняет трудные поручения Тинатин.

Вспомним и первую встречу Нестан-Дареджан и Тариэля. Тариэль подавляет душевные страдания, вызванные этой встречей, и по поручению Нестан отправляется выполнить свой долг перед возлюбленной и перед родиной — в геройском бою сокрушает непокорных хатайцев.

Для рыцарей — героев «Витязя в барсовой шкуре» характерно преклонение перед истинной дружбой. Тариэль, Автандил и Фридон — беззаветно преданные, самоотверженные друзья. Академик Н. Марр в дружбе, описываемой в «Витязе в барсовой шкуре», усматривал своеобразное проявление древнего грузинского народного обычая — побратимства или, лучше, новую ступень его развития, которая, наряду с взаимной личной симпатией, подразумевает возвышенный интеллектуализм. Друзья не только ощущают неодолимое влечение друг к другу, но и разумом постигают беды и невзгоды один другого, глубоко анализируют свое поведение. Вспомним все ту же сцену встречи героев, в которой отчаянию Тариэля противопоставляется трезвый рассудок Автандила. Именно благоразумные советы и предусмотрительность Автандила вывели Тариэля из состояния глубокой депрессии и вернули его к активной деятельности и борьбе.

Три героя показывают замечательные примеры самоотверженной верности в дружбе. Автандил оставляет родину, возлюбленную и отправляется в полный опасностей путь на поиски утерянной возлюбленной Тариэля.

Хоть бы тяжкие услуги, другу помощь только в друге.

Сердце — сердцу. Через вьюги верный путь и мост любовь.

Автандил и Фридон достойно выполнили долг братской дружбы, помогли Тариэлю разыскать заключенную в Каджетскую крепость Нестан и освободить похищенную красавицу.

Такой же самоотверженностью ответил Тариэль Автандилу, когда вместо того, чтобы сразу вернуться в Индию, последовал за ним в Аравию. Своеобразную теплоту рыцарству, изображенному в «Витязе в барсовой шкуре», придает и трогательно чистая дружба между Тариэлем и Асмат, перенесшей немалые трудности и не покинувшей его в беде.

Эта чистая дружба юноши и девушки, описанная в «Витязе в барсовой шкуре», представляет собой уникальное явление в мировой поэзии.

Галерею героев поэмы достойно украшают женские персонажи — Нестан, Тинатин, Асмат. Поэт с необычайной художественной силой последовательно вводит нас в их духовный мир. Достаточно проследить за перипетиями любви Нестан и Тариэля, чтобы стало ясно, как возвышенны и чисты эти люди.

Важнейшая художественная задача автора «Витязя в барсовой шкуре» — изображение свободных людей, представляющихся ему идеальными. Совершенно естественно, конечно, что идеал свой он ищет среди представителей восходящего феодального класса. Главные герои поэмы не имеют себе равных по физической силе и доблести, по внешней и внутренней красоте и, наконец, по изяществу и изысканности. Идеальные герои поэмы, — царевны Нестан и Тинатин и прославленные рыцари Тариэль и Автандил, — движимые возвышенными чувствами любви и дружбы, дают поэту богатейший материал для всестороннего раскрытия великолепных, полнокровных художественных образов.

Проблема, заслуживающая особого внимания, касается способа раскрытия образов-характеров, действующих в поэме. Именно здесь должен проявиться Руставели как поэт и мыслитель, поскольку решение характеров и есть выражение художественного кредо писателя, определяющее стилистические особенности его поэтической речи. И действительно, «Витязь в барсовой шкуре» блестяще подтверждает это положение. Руставели сложил бессмертный гимн, воспевающий все лучшее, что есть в человеке, прославил мир, который рисовался ему идеальным, населив его такими прекрасными людьми, как Нестан и Тинатин, Тариэль, Автандил и Фридон.

Смело можно сказать, что все они достойно украшают галерею бессмертных образов мировой литературы. Как в эстетическом, так и в этическом плане они дают твердое основание для признания Руставели

величайшим гуманистом Средневековья, гениальным провозвестником качественно новой эпохи в истории человечества.

Важным представляется и образ Фатьмы — женщины, легко меняющей свои неглубокие любовные чувства. Эпизод, в котором Фатьма является главным действующим лицом, на первый взгляд как бы выходит за пределы основной художественной задачи автора, но своей реалистичностью придает поэме неповторимый жизненный колорит. Эпизод дышит земным бытием и легким юмором; в нем блестяще проявляется все разнообразие художественных возможностей автора поэмы. Эпизод с Фатьмой, особо освещающий и обогащающий всю поэму, становится провозвестником и непосредственным предшественником романов нового времени (Фатьма — характер, нарисованный подлинно реалистическими штрихами). Еще в 1884 г. известный австрийский писатель, барон Зутнер отмечал: «Справедливость требует назвать Руставели гениальным писателем, ибо он создал роман в то время, когда этого жанра эпической поэзии еще не существовало в Европе».

«Витязь в барсовой шкуре» — чарующе прекрасная поэма любви, а дружба и побратимство здесь стоят на грани этого великого чувства. «Сомневаться в том, что „Витязь в тигровой шкуре“ — поэма любви, — писал известный специалист средневековой европейской литературы академик Шишмарев, — нельзя, и спор идет лишь о том, какую пару считать главными фигурами — Тинатин и Автандила, или Нестан и Тариэля»^{*}. В самом деле, если нельзя сомневаться в том, что «Витязь в барсовой шкуре» прежде всего — поэма любви, то нельзя не признать главными персонажами и тех, чьей многострадальной любви Шота Руставели уделяет большое внимание. Кстати, это проявляется и в прологе и эпилоге поэмы, где поэт просит помочь Тариэлю. Именно Нестан и Тариэль составляют главный стержень, вокруг которого вращается вся поэма. Тинатин и Автандил в некотором роде дополняют их образы, уточняя то представление об идеальных героях, которое поэт стремится создать у своих читателей.

Любовь — вечная тема поэзии. Ее воспевали и задолго до Руставели. Она вдохновляла персидскую романтическую поэзию, гимны в честь любви слагали современные Руставели провансальские поэты, платоновская теория любви приобретала во всем мире самые разные нюансы, — то на Западе получала характер неоплатонической мистики, то выступала в виде суфистских песнопений в поэзии Востока. Любовь занимала свое постоянное место (в большей или меньшей степени) и в западноевропейских рыцарских романах. Кстати, порой отмечают, что главная заслуга Руставели в том, что в условиях Средневековья он одним из первых нашел именно в земной жизни возможности для торжества любви, но это — лишь одна грань проблемы,

главное же все-таки в том, что Руставели воспел любовь, равную которой трудно найти в сокровищнице мировой литературы. Она зовется руставелевской любовью: это — чистое (здесь она приближается к дантовской) и в то же время полнокровное человеческое чувство (здесь расходятся друг с другом «Божественная комедия» и «Витязь в барсовой шкуре»). Она толкает человека на добрые дела и героические подвиги, облагораживает и очищает его, озаряя всех светом, о котором только может мечтать человек в этом мире, подобном «несметной многоцветности цветнику». Мы считаем совершенно справедливыми слова известного английского исследователя, блестящего знатока мировой поэзии Мориса Боура: «Оригинальность Руставели заключается в том, что он рассматривает любовь не как нечто ненормальное, а как силу, которая вызывает все лучшее в тех, кем она овладела... Разница между ним и другими романтическими поэтами состоит в том, что тогда как они главным образом интересуются развлечениями и увеселением, Руставели имеет определенную миссию, почти религиозные убеждения. Комбинируя свое платоновское учение о любви с героическими действиями, с одной стороны, а с другой — со здравым чувством реальности, Руставели показывает, какое место должна была любовь занять в жизни. По его мнению, она должна существовать в реальном мире и быть связанной с мужественными деяниями. Смысл своего учения Руставели разрабатывает более тщательно и последовательно, чем это делали писатели французских и персидских романов, и наглядно показывает, что случилось бы, если бы люди этого достигли»^{*}.

«Витязь в барсовой шкуре», неисчерпаемый родник мудрости и поэзии, постепенно занимает свое место среди величайших шедевров мировой литературы.

Создание подлинно поэтического произведения автор «Витязя в барсовой шкуре» считает героическим подвигом. Разум и мудрость, сердце и чувство должны быть при этом гармонично слиты воедино. В прологе поэмы, излагая свое поэтическое кредо, Руставели последовательно касается таких понятий, как «мудрость», «рыцарская любовь», «сердце» и «искусство». По всем вопросам, связанным с руставелевской трактовкой этих проблем, в настоящее время накопилась богатая научная литература. Признано, что в истории грузинской литературы высказанные автором «Витязя в барсовой шкуре» взгляды играли почти такую же роль, какую в свое время сыграла «Поэтика» Аристотеля для западной литературы в целом или «Поэтическое искусство» Буало для французского классицизма. Руставели блестяще реализовал в поэме принципы поэтического творчества, изложенные в прологе, и окончательно утвердил за собой славу патриарха грузинской

поэзии. Обращаясь к сравнению, предложенному великим грузинским поэтом XVIII в. Давидом Гурамишвили, можно сказать, что Руставели взрастил древо грузинской поэзии с могучими корнями и кроной и собрал с него обильный урожай.

В прологе же автор излагает свои взгляды как о назначении и цели отдельных поэтических жанров, так и о поэзии вообще.

*Кто когда-то сложит где-то две-три строчки, песня спета,
Все же — пламенем поэта он еще не проблеснул.
Две-три песни, он слагатель, но, когда такой даятель
Мнит, что вправду он создатель, он упрямый только мул.
И потом, кто знает пенье, кто поймет стихотворенье,
Но не ведает пронзенья, сердце жгущих, острых слов,
Тот еще охотник малый, и в ловитвах небывалый,
Он с стрелою запоздалой к крупной дичи не готов.
И еще. Забавных песен в пирный час напев чудесен.
Круг сомкнётся, весел, тесен. Эти песни тешат нас.
Верно спетые при этом. Но лишь тот отмечен светом,
Назовется тот поэтом, долгий кто пропел рассказ.*

Видимо, в эпоху Тamar и Руставели эти вопросы были предметом полемики. Многие образцы тогдашней поэзии (особенно произведения малой формы) до нас не дошли, но о них сохранились документальные сведения. Достаточно сказать, что следы их существования запечатлелись в самом «Витязе в барсовой шкуре».

Шота Руставели перечисляет несколько видов стиха и высказывает о них свое суждение. По мнению поэта, создание широкого эпического полотна является наиболее почетным и вместе с тем трудно осуществимым делом. О произведениях малой формы и так называемой развлекательной, шуточной лирике Руставели говорит с некоторой иронией. Авторы этих жанров он сравнивает с неопытным охотником, который «перед хищником не смел, лишь на мелкую дичину тратя мелочь робких стрел» (пер. П. Петренко). Этот полемический тон дает основание заключить, что в грузинской поэзии эпохи Руставели произведения малой формы были популярными и, возмож но, занимали даже господствующее положение. Сила и мастерство поэта, по мнению Руставели, проявляются на большом ристалище, — когда поэт стремится поведать о значительных событиях. В другом месте эту мысль автор «Витязя в барсовой шкуре» подтверждает поэтическим сравнением: как коня испытывает долгий путь, а игрока в мяч — ристалище, так и повествование о значительных событиях, требующее «долгой речи», является мерой мастерства подлинного стихотворства:

*Приглядитесь к поэту и его стихотворству тогда,
Когда он не справляется со словом и оскудевает стих.
Не укоротит ли он речей, не прибежит ли к малословию,
Сумеет ли молодецки ударить чоганом, выказать большое геройство.*
(Подстрочный перевод С. Иорданишвили)

В прологе же Руставели останавливается на отдельных вопросах поэтической формы. Его суждения о них также носят полемический характер. Он явно отмежевывается от выпяченного стиля придворной одической поэзии, требуя от стихотворца прежде всего ясного выражения мысли. Это требование касается не только эпических произведений, но и стихов малой формы, которые Руставели квалифицирует как жанры легкие, могущие быть оправданными в его глазах лишь в том случае, если поэты в состоянии преодолеть туманный, неясный стиль: «Они приятны нам, если сказаны ясно». Ясность и лаконизм, пластическое выражение мысли — органические свойства поэтического стиля самого Руставели. Этим требованиям, выдвинутым в прологе, полностью удовлетворяет и поэтика «Витязя в барсовой шкуре» (об особенностях поэтического языка Руставели ныне существует богатейшая литература).

Для характеристики языка Руставели представляют также интерес и некоторые статистические данные. «Витязь в барсовой шкуре» — произведение не очень большого объема, если судить по масштабам восточного поэтического эпоса. В юбилейном издании 1937 года насчитывается 1669 строф, или 6676 строк. Общее число всех слов, использованных автором, составляет 45 тысяч. Что же касается гораздо более важного показателя — самостоятельных лексических единиц, — то их число достигает 7066. О поэтической одаренности автора «Витязя в барсовой шкуре» говорит не только этот богатейший запас поэтической лексики, но и тот факт, что из указанного запаса свыше 3700 слов встречаются в поэме лишь по одному разу. Избрав в качестве поэтической формы для своего произведения шестнадцатисложный катрен, Руставели поставил перед собой сложную задачу. Блестящая одаренность позволила поэту успешно справиться с этой трудностью. Если учесть, что в поэме нигде не повторяются одни и те же рифмы, то вывод напрашивается сам собой: Руставели обогатил грузинскую поэтическую культуру множеством совершенно новых, оригинальных рифм.

То же можно сказать и о других компонентах речи. Гениальный автор «Витязя в барсовой шкуре» выявил богатейшие возможности поэтического слова, таящиеся в его родном языке, надолго предопределив тем самым будущие пути развития грузинского стиха.

Еще совсем недавно «Витязя в барсовой шкуре» в Европе знали лишь немногие специалисты. И даже в XIX веке, этом великом столетии литературы и искусства, в странах Европы почти не было произнесено авторитетного слова в адрес бессмертного творения Шота Руставели.

Что же касается предыдущего периода, в частности XVI — XVII — XVIII столетий, то в ту пору Грузия не представляла собой даже тени мощного государства времен Давида Строителя и царицы Тамар. По образному выражению Давида Гурамишвили, Грузия того времени была перепаханным вкривь и вкось полем, на котором хозяйничали враги внешние и внутренние. Ослабевшая и обескровленная нескончаемыми войнами страна, естественно, не могла идти в ногу с развивающейся цивилизацией.

Породнение с Россией **спасло** Грузию и ее народ от физического уничтожения. Новая обстановка вызвала определенное оживление культурных связей. В 1802 году в России вышел труд обзорного характера Евгения Болховитинова «Историческое изображение Грузии в политическом, церковном и учебном ее состоянии». В книге дан исторический обзор грузинской литературы и, в частности, рассмотрен «Витязь в барсовой шкуре». Здесь же приводится в качестве примера начальная строфа поэмы в переводе на русский язык. Это первое на русском языке исследование, естественно, не могло быть безупречным, исчерпывающим, однако книга, несомненно, сыграла положительную роль. Все имевшиеся в тот период на европейских языках обзоры грузинской литературы в большинстве своем опираются на труд Болховитинова и ссылаются в качестве примера на тот же перевод из поэмы Руставели.

Следует особо отметить заслуги первого зарубежного грузиноведа Мари Броссе. Занимаясь грузинским языком и культурой Грузии, он специально взялся за изучение грузинской литературы и, в частности, «Витязя в барсовой шкуре». Консультантом Броссе в этой области был один из первых руствелологов, грузинский академик Теймураз Багратиони. Мари Броссе с 1828 года начал публиковать во французском «Journal Asiatique» статьи о Шота Руставели и его поэме. Наряду с этим он же взялся за перевод «Витязя в барсовой шкуре» на французский язык. Перевод был выполнен в прозе и публиковался отрывками. Публикация труда Мари Броссе не была доведена до конца. Он хранится сейчас в Ленинградском институте востоковедения. Это была первая попытка перевода поэмы на французский язык.

Впоследствии, к концу XIX века, в Грузии был выполнен второй, уже полный перевод поэмы на французский язык. В Грузии готовилось богатое издание «Витязя в барсовой шкуре» (издание 1888 года), иллюстрировать которое было поручено известному венгерскому художнику Михаю Зичи.

Поэма еще не была переведена, и это создавало большие трудности для художника, не имевшего возможности постичь дух поэмы. По предложению Ильи Чавчавадзе, грузинский литератор Иона Меунаргия за короткое время выполнил перевод «Витязя в барсовой шкуре» на французский язык и предоставил один экземпляр перевода Михаю Зичи.

Этот перевод И. Меунаргия не издавался, но сыграл определенную роль в руствелологии. Как стало известно в последнее время, второй экземпляр своего перевода И. Меунаргия передал в 1915 году Константину Бальмонту, который в ту пору работал над полным переводом поэмы на русский язык. Выполненный И. Меунаргия перевод считается утерянным, и искать его следует в личных архивах Михая Зичи и Константина Бальмонта.

Долгое время не издавался и перевод поэмы Руставели на французский язык, выполненный Е. Орбелиани (он вышел в свет сравнительно недавно, в 1977 г.).

Полный французский перевод поэмы был опубликован позже. В 1938 году в Париже вышло прозаическое переложение «Витязя в барсовой шкуре», авторами которого были Георгий Гвазава и Ани Марсель-Паон.

Высокую оценку получил вышедший в 1964 году во Франции перевод поэмы, принадлежащий Серги Цуладзе. Он был удостоен Французской Академией премии Ланглуа.

В истории переводов «Витязя в барсовой шкуре» на иностранные языки почетнейшее место занимает английская поэтесса Марджори Уордроп. Вместе со своим братом Оливером Уордропом, также известным литератором, она прожила некоторое время в Грузии, изучила грузинский язык, познакомилась с многовековой историей и культурой страны, сблизилась с видными грузинскими общественными деятелями конца XIX века и решила перевести на родной язык бессмертное творение Руставели. Свыше десяти лет жизни отдала она этому трудному делу, так и не дожив до того дня, когда ее перевод увидел свет. В 1912 году перевод Марджори Уордроп был издан в Лондоне под наблюдением Оливера Уордропа. Перевод выполнен прозой, но высокохудожественной и, вместе с тем, отличающейся достаточной научной точностью. Перевод снабжен комментариями и необходимыми справками. Следует отметить, что академик Н. Я. Марр, замечательный знаток языка Руставели, считал этот перевод наиболее точным и научно скрупулезным по тому времени. Перевод Марджори Уордроп сыграл важную роль в популяризации «Витязя в барсовой шкуре» в Европе.

Первая попытка перевода Руставели на немецкий язык принадлежит Артуру Лейсту, также несколько лет жившему и работавшему в Грузии. Ему

не удалось перевести поэму полностью, но в 1889 году в Дрездене был опубликован перевод довольно значительной части поэмы. Имеются сведения о том, что в те же годы над немецким переводом «Витязя в барсовой шкуре» работали австрийские писатели, супруги Берта и Артур Зунтеры. Однако их перевод бесследно утрачен. Неопубликованным остался и немецкий перевод поэмы известного грузинского ориенталиста Михаила Церетели. Один из экземпляров его хранится в Грузии. Полный поэтический перевод «Витязя в барсовой шкуре» на немецкий язык вышел в 1955 году в Берлине. Его автор — австрийский поэт Гуго Гупперт. (Накануне вышел также новый перевод, автором которого является известный немецкий поэт Герман Будензиг).

В XIX веке, наряду с вышеупомянутой попыткой Евгения Болховитинова, были выполнены переводы некоторых эпизодов поэмы на русский язык. Среди них следует отметить переводы отрывков, сделанные поэтом И. Бартдинским и опубликованные в 1845 году в Петербурге на страницах журнала «Иллюстрация». Перевод этот был довольно объемистым и содержал около 600 строф. Русскому поэту, не знавшему грузинского языка, помогли в его работе писатель Г. Дадияни (Колхидели) и профессор Д. Чубинашвили. Перевод получил в свое время различные оценки, но при всех «за» и «против» сыграл положительную роль, так как дал русскому читателю возможность познакомиться со значительной частью творения Руставели в поэтическом переводе. В том же XIX столетии было сделано еще несколько неполных переводов поэмы.

Таким образом, хотя Константин Бальмонт явился первым русским поэтом, осуществившим полный перевод поэмы Руставели, у него все же были предшественники в этом деле. Данное обстоятельство, конечно же, несколько не уменьшает значения проделанной им работы. Главное, нам кажется, состоит в том, что русский поэт всей душой полюбил творение Руставели; будучи довольно глубоким знатоком европейских языков и литератур, он сумел по достоинству оценить это произведение, сопоставив его с некоторыми шедеврами литератур средневековой Европы. Поэт впервые познакомился с произведением Руставели по английскому переводу Марджори Уордроп. Как он сам вспоминал впоследствии, перед ним открылся совершенно неведомый поэтический мир. Руставели, воспламененного духом Ренессанса, Бальмонт поставил в ряды величайших поэтов мира. Впоследствии он посвятил творчеству великого грузинского поэта специальную статью «Великие итальянцы и Руставели» (1917). Отдельные отрывки поэмы в переводе Бальмонта печатались на протяжении ряда лет, полный же перевод был опубликован в 1933 году в Париже под

заглавием «Носящий барсову шкуру». Этот полный перевод в нескольких изданиях выходил и в Советском Союзе.

Бальмонт, считавший, что до него «не умели в России писать звучных стихов», придавал огромное, может быть, даже чрезмерно преувеличенное значение музыкальности стиха, забывая, что последняя никогда не должна становиться для поэта самоцелью. Отказавшись от передачи руставелевских катренов, он попытался компенсировать это введением внутренней рифмы, но в результате по существу создает восьмистрочную строфу, зарифмованную по схеме: **а-а-а-б — в-в-в-б** и не имеющую ничего общего с метрической структурой чеканного стиха Руставели. Этим во многом определяются и многочисленные отступления от оригинала.

Сейчас, помимо бальмонтовского, мы располагаем и несколькими другими русскими переводами, выполненными на достаточно высоком уровне. В 1937 году вышел в свет перевод Г. Цагарели, а в 1938 г. — перевод П. Петренко, осуществленный при участии и под редакцией известного грузинского поэта Константина Чичинадзе. Здесь же следует отметить, что после трагической гибели Пантелеймона Петренко перевод заключительных глав поэмы (начиная с 1515 строфы) выполнил Борис Брик, при участии того же Константина Чичинадзе.

В 1941 году был издан новый перевод поэмы на русский язык, принадлежащий академику Шалве Нуцубидзе. Этот труд представлял собой несомненный шаг вперед, ибо автор его постарался сохранить и передать как ритмику подлинника, так и его неповторимую аллитерацию.

На протяжении ряда лет (с 1937 года) над переводом поэмы на русский язык работал известный поэт и переводчик шедевров грузинской поэзии Николай Заболоцкий. Начав с вольной обработки поэмы, Н. Заболоцкий выполнил в дальнейшем ее полный поэтический перевод (впервые издан в 1958 году).

Одним из лучших переводов «Витязя в барсовой шкуре» считается украинский, принадлежащий поэту Миколе Бажану.

Поэма переведена также на итальянский, испанский, венгерский, польский, японский — всего более чем на 40 языков народов мира, в том числе почти на все языки народов Советского Союза.

Следует, впрочем, заметить, что ни один из этих переводов не является совершенным и, разумеется, дает читателю неполное представление о достоинствах творения Руставели. Справедливо говорил по этому поводу Павел Антокольский: «Многие из поэтов пытались передать на своем языке поэму Руставели „Витязь в барсовой шкуре“. Есть и полные переводы на

русский язык... Но ни один из русских переводов не может вполне удовлетворить взыскательного читателя»^{*}.

Однако переводы эти все же играют важную роль. Ведь с их помощью читатель знакомится с содержанием и идейным миром «Витязя...». Известный исландский писатель Халдор Лакснесс писал по этому поводу: «Хоть я и не знаю грузинского языка и читал и изучал бессмертного „Витязя в тигровой шкуре“ на французском языке, но я все же понял и почувствовал в нем не только чарующий героизм эпохи, но и замечательную победу извечных ценностей народной мудрости, верности, дружбы, замечательной любви. Поэтому близка поэма Руставели народам различных эпох, близка нам»^{*}.

По французскому и русскому переводам с поэмой познакомился выдающийся французский писатель Луи Арагон, назвавший творение Руставели одним из шедевров мировой поэзии. По мнению Луи Арагона, «Витязь в тигровой шкуре» — самое замечательное творение средневековья. В отличие от больших поэм западной Европы той же эпохи, она свободна от всякой мистики и, подобно творениям эпохи Возрождения, стоит выше христианского учения... Грузия породила своего Данте тогда, когда мы еле достигли Кретьена де Труа»^{*}.

«Витязь...» еще ждет высокоталантливых переводчиков, под пером которых в полный голос заговорит на многих языках вечная поэтическая мудрость Руставели.

Саргис Цашивили

Примечания

1.

Читателя не должно смущать, что мы переводим заглавие поэмы Руставели не так, как оно представлено в русских поэтических переводах, в том числе и в переиздаваемом ныне переводе К. Бальмонта. Исследования последних лет убедили грузинских руствелологов в том, что «вепхи» у Руставели не тигр, а именно барс, и в этом отношении Бальмонт оказывается точнее. *Ну не било в Грузии тигров, совсем не било, а барс тогда бил, мамой клянусь, бил — сейчас нет, уже умер...* Однако герои Руставели — витязи, рыцари в лучшем смысле этого слова, и поэтому выражение «носящий барсову шкуру» не совсем удачно.

2.

Памятники эпохи Руставели. Сборник, Л., 1938, с. 117.

3.

M. Bowra. Inspiration and Poetry, London, 1955, p. 50.

4.

Как известно, именно из-за этого клерикалы включили в одну из рукописей «Витязя в барсовой шкуре» строфу, в которой Руставели осуждается за то, что он не упоминает христианской троицы, ведь это означало как будто отступничество от христианской церкви.

5.

Shot'ha Roust'haveli. The Man in the Panther's Skin...London, 1912, IV-V.

6.

Ш. Нуцубидзе. Творчество Руставели. Тб., 1958, с. 16.

7.

М. Гогиберидзе. «Руставели...», 1961, Тб., с. 28-59 (на груз. яз.).

8.

В. Ф. Шишмарев. Шота Руставели, ИАН, М-Л., 1938, с. 6.

9.

M. Bowra. Inspiration and Poetry, London, 1955, p. 67.

10.

«Второй Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет», М, 1956, стр. 260.

11.

Газ. «Комунисти», 31 декабря 1937 г. (на груз. яз.).

12.

Луи Арагон. Грузинская песня. Журн. «Мнатоби», 1957, № 4, стр. 141.
